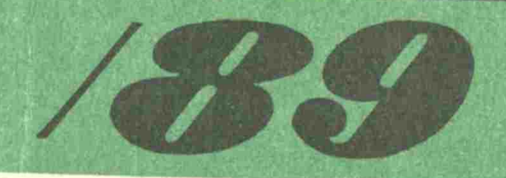
сибирь



ОКТЯБРЬ, СЕНТЯБРЬ,



ВАСИЛИЙ БУТОВЕЦ — ПОТЕХА. Повесть.

РАССКАЗЫ А. СЕМЕНОВА, Н. ЗАРУБИНА, В. КАЙКОВА.

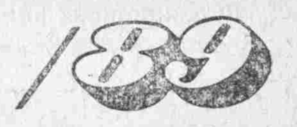
ИРКУТСКАЯ ЛЕТОПИСЬ. (Летописи П. И. Пежемского и В. А. Кротова). Продолжение

ИНТЕРВЬЮ СО СТАНИСЛАВОМ КУНЯЕВЫМ.





Писатель Сергей Павлович Залыгин



Литературно-художественный и общественно-политический двухмесячник

Орган Иркутской и Читинской писательских организаций РСФСР

ОСНОВАН в 1930 году

СОДЕРЖАНИЕ

Иркутск Восточно-Сибирское книжное издательство

ISSN № 0132—6740

На 2-й, 3-й страницах обложки, на вклейке— фотопортреты Б. Дмитриева





Владимир Чиликин

КОЛЕЯ

1

Все было тут особенного свойства,
и все терпела стылая земля:
и хваткость показушного геройства,
и выхвалку спесивого рубля.

Из поднебесья ухали литавры.
А рядом под истошный всхлип колес
составы, как подбитые кентавры,
сломав хребты, срывались под откос.
Не мы ли, перековчивы и ломки,
не разбирая праздничных одежд,
шли разгребать горелые обломки
еще не состоявшихся надежд.
И вновь самих себя превозносили,
а загибать такое мы могли...
И вот — и колею поизносили,
и святости ни в чем не сберегли.

Повыцвел БАМ. Какое там геройство...
Прости нас, разоренная земля:
ведь как в завалах памяти ни ройся,
нет ничего там, окромя рубля...

2

Наверное, и выгодней и проще
охаять все былое огулом:
навзрыд оплакать сгубленные рощи,
где сами же
и шли мы напролом.
И вот, ни в чем не зная середины,
расшатанные правя колеи,
наперечет твердим чужие вины
и забываем запросто свои.

А в клубах, где ни жарко и ни пыльно,
в охотку прет в ораторы народ...
Российская ты наша говорильня,
очнись-опомнись:
время-то идет...

ОБРОК

...Сквозь обретенья вопиют утраты...
М. Вишняков

Везут авоськи, сумки и мешки
из дальних сел
в такой неблизкий город.
И вянут невеселые смешки,
а для веселых не сыскался повод.
У горожан горячая страда...
А тут — как встарь:
и рощица погасла,
и коченеет в колеях вода,
и гнутся долу сгорбленные прясла.
И хоть заботы больше о себе,
а взглядом,
не хотел бы, да пристанешь:
все меньше новоселий на селе,
все больше заколоченных пристанищ.
И сквозь кудель родительских щедрот
проймет догадка, тягостна и млечна:
не вечен материнский огород
и поле обмелевшее — не вечно.
А мы все дальше, дальше от села...
Какой судьбы мы
так настырно ищем?
Не доведется ль самого себя
вдруг осознать обобранным и нищим?
И вот замрешь на выжженной стерне,
предчувствием настигнут невеселым:
не дай-то Бог в родимой стороне
целинным очутиться новоселом...

ИСТИНА

Окопная, сермяжная,
такая-рассякая,
да что ж ты все ухабами,
да что ж ты напролом,
ни дальнему, ни ближнему
ни в чем не потакая?..
И бьют тебя по темечку
мясницким топором.
И вроде бы затоптана,
и вроде — бездыханна,
наветами затравлена
                    и лагерной тоской,
с неслыханной настырностью
                    российского Ивана
поджилки рвешь,
                    и все-таки
встаешь над суетой...
Покуда всякой сволочи
надежды не оставлено:
мол, выдохлись, изверились —
и кончен лютый бой;
покамест есть у времени
Распутины, Астафьевы,
и в нас она не выцвела,
твоя святая боль.
И вновь сквозь гогот слышится,
хотя и тяжко дышится,
как зов, как заклинание,
неробкий твой мотив:
на эшафоте совести
слезой кровавой пишется
и светлый, и пронзительный
печальный детектив...

Владимир Валентинович Чиликин родился в 1947 году в г. Пугачеве Саратовской области. Служил в рядах Советской Армии, работал на Кольской АЭС, художником-оформителем в СМП. В настоящее время работает на БАМе.

Печатался во многих газетах и журналах.





Николай Зарубин

УХОДЯ ИЗ ДОМУ

РАССКАЗ

Ивана убило током высокого напряжения. Вернее, нужно сказать: ток убил Ивана. Так будет точнее. Да. Точнее. Словно автоматной очередью прошило всю правую сторону его тела — отверстия на брюках, куртке были тому доказательством. Родственники подходили, осматривали их и отходили. Не укладывалось в голове, что ток может оставить точно такие же следы, как и пули, и, следовательно, Иван погиб словно бы на войне. О войне помнят, кто там был и видел, как и отчего умирали люди. Вот они помнят. Им даже кажется, что ток — от того не столь далекого прошлого, когда в каждом доме со дня на день ждали похоронку на ушедшего воевать близкого человека, что это то еще страшное время напоминает о себе, оно, то время, вызвало их всех сюда телеграммой-молнией.

Такую получил и брат покойного — Василий. «Выезжай трагически погиб Иван». Прочел раз, другой, перебрал в памяти всех близких ему людей по имени Иван, показал на работе, положил в карман, чтобы уйти и собраться в поездку. По дороге останавливался, вынимал, перечитывал: «Трагически... словото какое...» — и не мог понять его смысла. «Тра-ги-чес-ки, тра-гик, тра-ге-дия, тра... черт знает что! Откуда они взяли это слово?»

«Ясно,— понял наконец.— Так пишут, чтобы подчеркнуть внезапность случившегося, когда здоровый, полный сил человек вдруг погибает по нелепой случайности».

Думалось всякое. То казалось, что Иван попал под поезд, то по пьяному делу куда сунулся, то ночью набрел на ватагу «добрых молодцев» из темных переулков.

«Трагически погиб, погиб трагически»,— твердил и твердил без конца, пока не доехал до поселка Нулут и не узнал точно: брата убил ток высокого напряжения.

Теперь сидел около огромных размеров гроба, где покоилось тело Ивана, смотрел и смотрел на его лоб, на выпирающие надбровные дуги, какие бывают у мыслителей, гигантов, людей-творцов всего, что есть удивительного вокруг. Которые пишут книги и которые заставили двигаться электроны по проводнику. Открыли эту непоборимую силу — ток высокого напряжения.

Гроб на двух табуретках стоял непрочно, ненадежно. Казалось: вот-вот Иван шевельнется и грохнется вместе со своей домовиной о пол, перевернется на живот, вскочит на ноги и направится в куть, на ходу бросив матери: «Где у нас сало полеживает? А?.. Игнатьевна?..» И побежит в стайку, наберет из лукошка теплых еще, недавно снесенных курицами яиц. И будет сновать из кути — в кладовку, из кладовки — в куть, пока не сядет за стол, не поставит перед собой какую-нибудь, все равно на какой странице, открытую книгу.

А читал он много, без разбору, ни с кем не делясь прочитанным, ни с кем не споря, вынашивая что-то в себе,

взращивая ведомые только ему мысли. И лишь, бывая во хмелю, начинал говорить длинно, нескладно, кого-то в чем-то обвинять, кому-то что-то доказывать, сваливая в кучу и работу, и родственников, поминая ту единственную женщину, которая, прожив с ним четыре года, неизвестно от чего спуталась с сорокалетним женатым бабником, и трудно было предположить, какой он в любую минуту может выкинуть номер потому, что сам в себе носил ток высокого напряжения.

И сейчас, в гробу, захлопнувшееся для всех лицо его хранило печать несогласия и упорства.

Василий выходил на улицу покурить, возвращался, заставляя себя как можно дольше сидеть у гроба брата. Он коротко отвечал на вопросы окружающих и о чем-то спрашивал сам. Но где-то внутри себя вел нескончаемый, неоконченный, не имеющий конца разговор с покойным. Он чувствовал, что еще не все в теле Ивана умерло, что какая-то часть его живет, мыслит, может быть, стоит напротив, вместе с ним выходит на улицу покурить. Может быть, даже удивляется всему, что происходит, пожимает плечами. Сокрушается. Негодует.

...«Это кровь... кровь.. родная наша с ним кровь. Одна на двоих... Матери и отца... Часть ее во мне... Часть наиболее активная. Она и мне не дает спать. Не дает жить. Заставляет сомневаться. Мучиться. Думать о смерти. Она питает те центры мозга, откуда происходят мои извечные тревоги, неудовлетворенность. И тогда я сам начинаю спрашивать себя: «А надо ли то, надо ли это? Отчего то и отчего это? Зачем то и зачем это?..»

Рядом, как показалось, противным голосом заголосила пришедшая взглянуть на покойного соседка.

— Куда ж ты такой молодой собралси-и-и.. Да какой же ты был смирный да ти-и-хий...

«Старая ведьма, — с раздражением думал Василий, — привыкла дармовые слезы разливать. Каждому порцию выдашь, а только за дверь — и забыла, где была».

— Да никому ты бывало не сказал худого сло-о-о-ва... Да никого никогда не потревожил...

«Тихий... смирный... худого слова... не потревожил...»

Причитания старухи давили, жгли. Он сильнее прижимал к себе скрещенные на груди руки, ниже опускал голову. Ему было тяжело и стыдно за эту общепринятую в подобных случаях ложь, как будто она обращена к нему самому и это его не хотят обидеть правдой. Нет, не тихий был Иван и не смирный. Он жил мучительной, непонятной для окружающих жизнью. Он ерепенился и хорохорился, скандалил и бузил. Он бунт души своей возводил в степень Закона. Он не давал покоя ни матери, ни сестрам, ни брату. И все старались помочь Ивану. Пытались понять Ивана, стремились удержать Ивана от чего-то такого, чего потом будешь стыдиться до конца дней своих. Словно смерть давно уже играла с ним в прятки и надо было потерпеть, подождать. Надо было дать высказаться человеку по возможности полнее, потому жизнь — Василий понимал теперь это!— не приставала к Ивану, как не пристает вода к масляному пятну на одежде. Как пух тополиный не пристает к стеклам окон. Она лишь октябрьским ветром тыкалась в него, заставляя сжиматься, ежиться, уходить в себя. И оттого ему всегда было холодно, сыро, темно. Василий понимал теперь это!..

Он вспоминал и вспоминал их нечастые встречи, разговоры, кончавшиеся если не руганью, то почти всегда хлопаньем двери, временами отчуждением, даже враждебностью.

— Ты слушай, слушай! — кричал иной раз Иван.— Ты знаешь: я свое фрезерное дело постиг. У бати нашего учился, а к нему, ты знаешь, со всей области ездили. Работаю по четвертому, а пятый — не дают. Я и так к начальству и сяк: «Рано еще, — говорят, — поработай пока».—«А почему,— спрашиваю, — несут мне работу высших разрядов, вы же за нее не платите?»—«Доверяем,— говорят, — ты это цени». «Ладно, — думаю, — черт с вами, может, совесть в вас когда-нибудь заговорит, если она есть, конечно». А рядом со мной работает мужик по пятому разряду. Вернее получает по пятому, а сидит на всякой мелочи — ни деталь какую-то выточить не может, ни чертеж элементарный разобрать. Подойдет, ты знаешь, на-

чальство ко мне — я работаю как и рабатал. О чем мне с ним говорить?.. А к моему соседу подойдет — он и посмеется, и анекдот расскажет, и о здоровье спросить не побрезгует. И он — в почете, а я — нет, хотя и дело лучше его знаю, и языком попусту не молочу. И везде таким дорога. Так ведь? Я тебя спрашиваю: так?..

— Так, — кивал головой Василий.

— Или, ты знаешь, собрали нас не так давно и говорят: «Сейчас в стране острая нехватка цветных металлов. Надо, — говорят, — чтобы у каждого был отдельный ящик для отходов. Тех, — говорят, — кто больше себерет, мы будем поощрять премией». А у нас, ты знаешь, везде бардак. По территории мастерских пройти — на самолет соберешь. В общем, объявили и смылись. Я сам, считай, и ящик-то этот сделал — не позаботилось начальство-то. Иду на работу или с обеда — где проволоку подберу, где еще что, и получилось: один за всех насобирал. Ну увезли, ты знаешь, быстро, тут они промаху не дали, а вот премию жду месяц, другой и к механику, дескать, когда же обещанные денежки выдадут. «Дак выдали уже, — говорит, — главный инженер получил, зав. мастерскими». «Ладно, — думаю, — поднимете вы еще меня на подвиг». А тут, ты знаешь, подходят и говорят: «Молодец, Юрченко, за счет тебя только предприятие план по цветному металлу и выполнило. Продолжай, — говорят, — в том же духе». А я, ты знаешь, сложил комбинацию из трех пальцев и под нос главному: «Вот, — говорю, — вам цветной металл, сами собирайте, сами и премию получайте». Так обиделись: «Рвач ты, Юрченко, — говорят, — не владеешь ситуацией». Каково, я тебя спрашиваю? Нет: каково?..

Василий хмыкал, крутил головой, слушал дальше.

— Или другая ситуация. Ты знаешь, как я с Томкой жил — не мне тебе об этом рассказывать. В доме у нас все было, потому что не меньше трех сотен зарабатывал и вечно не вылазил из кредитов. Пахал и вечерами, и в воскресенье, и халтуры всякие брал, и огород был на мне, и дом. А она то в больницу, то к маме своей отвалит и сидит там. И я ведь оказался плох! Спуталась! Да, может быть, не обидно было, если бы с моим одногодкой, а то с сорокалетним, у которого только законных жен штук пять было. Нормально это? Нет, я тебя спрашиваю: нормально это?

Василий и тут соглашался с ним.

— Или дома мать пилит, дескать, когда ты, здоровый лоб, женишься, доколе я на тебя стирать буду... Руки у нее, видите ли, отсыхают... Что, дескать, все дома сиднем сидишь, шел бы куда-нибудь, а сама: ты вечером в клуб не ходи, там — хулиганы... Ты нигде по вечерам не шатайся, не дай бог встретишь кого-нибудь. А мне этого и не надо. Я лучше дома буду сидеть. А почему? Да потому, что не вижу для себя поля деятельности. И вы никто меня не понимаете, лезете со своими советами.

— Что же ты думал, счастье само на тебя набежит, дескать, здравствуй, Ванюша, вот и я?.. Или серым воробышком в форточку влетит и скок тебе на плечо: чирик-чирик?.. Надо, наконец, что-то и делать, не слюни же распускать...

— Я и не распускаю и никогда не распускал. Мне, может быть, только Томка нужна, а простить ее я не прощу!

— Ну а дальше-то что?

— Не знаю,— угрюмо отвечал Иван и чаще всего на этом разговор их заканчивался. Но бывало Василий заводился, ударялся в философию и переходил на крик:

— Ну ладно, не клеится на работе, смени специальность, найди другое дело. Ушла жена — туда ей и дорога, не ты первый, не ты последний. Но, как говорил Есенин, пойми хотя бы самое простое, что дома, деревья, дороги, поля — только на один раз нам, больше этого никто не даст. Не умеешь написать книгу, пробежать быстрее всех, прыгнуть дальше всех, умей хотя бы взять от жизни малое, но и себе и людям на пользу. Умей встряхнуться, умей идти на разумные компромиссы.

— Против совести?

— Умей хотя бы против совести, а потом уж и кайся, но в таком случае мучай только себя.

— Трепология...

— Нет, не согласен, надо двигаться, надо пытаться, падать и опять вставать. В полный рост! И, может, опять падать, разбиваться, но вставать! Шрамы пойдут

на пользу, научишься ценить хотя бы то немногое, что у тебя будет: за душой, в сердце, голове.

— Философия...

— Может, и так, но лично я боюсь того времени, когда все погрузится в темноту, когда уже ничего не вернешь, не исправишь.

— И я боюсь, — вздыхал Иван.

— Так чего жилы из всех тянешь?.. Не убог ведь, руки, ноги, голова на месте. Здоров как бык, мозги варят. Живи! Здравствуй!

— А как? — наивно спрашивал Иван.

— Ну уж... знаешь...— отворачивался Василий, не умея сказать, не находя слов, махал безнадежно рукой.

Разговоры эти ему осточертели. Он сознавал, что пытается сунуть утопающему соломинку, а тот с готовностью за нее хватается. И получалось: вопросы Ивана были как бы обращены к нему самому, ведь это он, Василий, чем больше живет, тем чаще перешагивает через множество «почему», что не ему поучать Ивана, как жить. Свое несбывшееся, сломанное, оставленное где-то позади, без чего тоскливо по ночам, что казалось забытым, кинутым, вырванным из сердца, — в минуты эти снова становилось главным, снова вырастало до своих подлинных размеров. Но не обмануть время, не вернуться назад, не настигнуть собственное, не давшееся в руки счастье. Не перескочить в обратном направлении через тысячи «почему?», где мало-помалу растерял он свои идеалы, обрубил топором примиренчества острые, наиболее ранимые края собственной совести, и превратилась она в некого удобного для жизни болванчика. Обрубил, но не убил. Ивану дано было поднимать его, упавшего на все четыре кости, снова чувствовать в себе силы для сопротивления всяческой кривде. И как в юности начинало хотеться трудов непосильных, чувств искренних, отношений незамутненных, вечеров несказанных, встреч нежданных — всего того, на что он утратил моральное право, но на что продолжал претендовать. Иван ставил его лицом к лицу с тем, прошлым, каким Василий вступал в жизнь и словно бы убеждал, что это к нему не пристала жизнь, это Василий, а не Иван отступил от приличествующей настоящему человеку единственно правильной линии в поведении, поступках, принятии решений.

Гордится зрелость приобретенным опытом, а нередко и цена-то ей — грош. Нет в ней полноты ощущений, преданности безоглядной, порывов безотчетных, а только страх: абы чего не вышло, абы чего не произошло, абы не растревожить себя, не растрясти, не взволновать, не уронить в грязь перед такими же, как и сам. Десятки тысяч так называемых зрелых людей, перешагнувших за тридцать — семейных и одиноких — ходят по земле, топчутся в очередях, ищут интеллектуальных и неинтеллектуальных развлечений, приобретают тряпки, выезжают за город, делают по утрам гимнастику, но страшатся бессонницы, холодных простыней и гулких ночей, в существовании своем дошедших до того предела, когда эту самую их зрелость уже нельзя отличить от духовной импотенции.

Нет, не мог он быть Ивану ни советчиком, ни наставником, ни примером. Никто не мог быть для него примером: то, что в характере Василия было заложено природой лишь в общих чертах, в Иване было нормой. Потому и работу, и свои отношения с Томкой, родственниками пытался приладить к себе, к своему разумению и толкованию основы основ бытия, когда по заслугам — и честь, на силу чувства — чувство ответное, когда из общей стаи тебя не изгоняют только за то, что ты отличаешься от всех прочих — цветом своего оперения.

И зачем было Ивану менять профессию? Фрезерное дело он действительно постиг, прочитав о нем всю или почти всю имеющуюся специальную литературу, да еще и при таком учителе, каким был их отец. Не в профессии дело, а в складывающихся отношениях на производстве.

Как-то в одной из центральных газет Василий обратил внимание на статью директора крупного завода, в которой говорилось о профессиональной чести рабочего, об ответственности перед временем, о воспитании в человеке чувства коллективизма. Очень правильно говорилось, и оттого, что говорилось слишком правильно, с самого начала не вызывало доверия. Василий усомнился в собственном пока безотчетном осознании

личных достоинств статьи и заставил себя дочитать ее. «В современном обществе, — излагал автор, — каждый индивидуум уже по своей сути должен быть коллективистом. Вливаясь в рабочую семью, он отдает все силы любимому делу, а значит,— заводу, стране».

«Эк хватил... Кругло и безоговорочно. А сам-то индивидуум — что? Как сбросишь со счетов всяческие симпатии и антипатии, откровенность — одних и замкнутость — других, узость интересов иных начальников и широту интересов иных работяг, которые в силу своей подчиненности вечно ходят в нелюбимых, обиженных, обойденных. А коль так, то — хочешь или не хочешь — наступай на горло собственной песне, приспосабливайся и приноравливайся. Не нравится — ищи другое место под солнцем, и чем дальше, тем больше будет впереди тебя поспевать дурная слава неудачника, отщепенца и, в конечном итоге, во всех отношениях неудобного для общества индивидуума. С такими установками вряд ли ты сам, товарищ директор, начинал как личность, скорей всего, как приспособленец, не раз и не два склонил голову, прежде чем полез в гору. Да и сейчас склоняешь перед всевозможными инстанциями, от коих зависишь и ты сам, и процветание твоего производства, а в конечном итоге — благоденствие страны. Нет, иные требуются меры, иные оценочные установки. Человека надо видеть в каждом индивидууме со всеми его болевыми точками, отсюда и начинай перепляс...»

Дочитал и думал о брате. Растратил он себя, износил в себе потребность совершенствоваться, оказавшись в безлюдье, и теперь кладет силы на выяснение отношений. Сомкнулись две черты круга, и мечется теперь, не знает, где и как разорвать эту роковую для него черту. И у него, у Василия,— свой круг. У каждого человека свой круг. Вырвался из одного — попал в другой: круг обязанностей, круг знакомств, круг взаимоотношений. И твое счастье, если обитаешь в своем: можешь реализовать дарованные тебе природой силы. А если не можешь — найди достойную звания человека отдушину. Попробуй жить для людей. Все в этом мире должно делаться для людей...

Тягостная процедура похорон — спектакль древний, и, сколько бы ни сменялось поколений, каждый живущий безошибочно находит в нем свое место, пока и сам не станет однажды его безмолвным главным действующим лицом.

Гроб вынесли на улицу и установили перед воротами дома. Друзья, знакомые, сочувствующие, просто зрители расступились, и фотограф с приличествующей случаю физиономией занял свое место. Близкие согласно родственных связей с покойным сомкнулись у его тела. Снова все пришли в движение, вперед вынесли венки, и вот уже четверо мужчин, оторвав от табуреток дорогой этому дому груз и выравнивая шаг, свернули на главную дорогу — вдоль улицы.

Никогда, как бы многотрудна ни была работа, не видел Василий таких озабоченных лиц, какие бывают у людей, несущих гроб, потому что любая другая делается в угоду и на потребу жизни. Любая другая, даже изготовление домовины и рытье могилы, оплачивается, если не звонкой монетой, то обязательно поллитровкой, словом благодарности, ибо человек всегда может отойти и поглядеть: ладно ли сработали его руки и может ли принять полагающуюся дань за свой труд. Любая другая не ставит его так близко с всеразрушающей смертью и не заставляет так полно чувствовать бренность самого существования, оканчивающегося торжеством небытия где-нибудь в укромном уголке на погосте, которые также имеют свой век. Люди сплачиваются на время похорон словно бы для того, чтобы сказать друг другу: «Смерть пришла и вырвала одного из нас, но не истребила в нас тягу к жизни, мы никогда не дадим ей повода для торжества».

«Поразительно, — думал Василий, — что эти же люди, а может, и не эти, но все равно — люди, с которыми жил и работал Иван, не могли принять его живого».

В свой прошлый приезд в Нулут Василий нашел брата до удивления спокойным. Они говорили долго и тихо. Обо всем, о чем никогда прежде не говорили.

— Ты знаешь, производство-то я свое бросил.

— Что бросил-то?

— Заколебали. Смотрят как на бе-

лую ворону и чуть что: коллектив... коллектив... Коллектив решил... Коллектив постановил... А в коллективе-то этом и работников-то стоящих осталось три с половиной человека. Дядя Витя Панченко да Володя Сундук. Да еще тетя Маша — уборщица. Вкалывают, потому что, как согнули спину до войны, так по сей день не могут разогнуть. Остальные — только трепаться да денег побольше огребать.

— Но деньги-то еще никому не помешали.

— Так их, ты знаешь, заработать надо, а работать не все хотят. А я и работал и требовал, чтобы по-совести платили. Из принципа. В расценках, ты знаешь, меня обдурить трудно, так что придумали: стали гонять то вагоны разгружать, то на полевые работы — дескать, все ездят, и ты должен. В конце-концов я уперся: «Чего,— говорю,— вы меня гоняете, ведь лучше меня никто мое дело не .сделает, значит, брак будете гнать в мое отсутствие».—«А это,— посмеиваются,— не твоя забота».—«Так что же, — посмеиваюсь и я, — частная лавочка здесь или государственное предприятие?..» В общем, крутили и так и сяк, ну и начали разными приказами допекать: то выговор по административной линии, то премию снизят, то еще чего. Противно... А в конце месяца я прямо чуть ли не в герои попадаю — план горит: «Ты, Юрченко, давай... Ты, Юрченко, не подведи...»

— А по-другому строить свои отношения нельзя?

— Ты знаешь, пробовал, но, видно, не могу по-другому...

Василий слышал, что Иван лет пять назад пытался поступить в университет на юридический, но что-то у него там не получилось, а что — не знал. Раньше спросить об этом значило — нарваться на очередные обиды, к тому же никак не мог представить его в роли служителя правосудия. Теперь вроде можно было. Теперь слушал его, глядел на него— и душу застилала нежность: «Брательник, брательник, сплошные нелады и несклады в твоей жизни, не приучили нас родители к кривизне, но они и не думали — как им жить, потому что некогда было думать. Они работали. Работали дяди Вити и тети Маши. Такое время было — нехватки и недостатки в семье, на производстве, в стране. Ты вот мои обноски донашивал. Они — на станках, выпущенных еще «во время оно» чудеса творили, страна, в свою очередь, выезжала на лошадках, на допотопных колесухах. Когда же наступил сбой? Когда пришло равнодушие, когда перестали верить — и народилось целое поколение, которое, приняв от своих отцов ничем не замутненную эстафету трудового энтузиазма и самоотверженности, оказалось не в силах достойно нести эту эстафету, а начало приспосабливаться, пристраиваться? И выплюнуло таких, как ты, — вопросозадавателей, отщепенцев, неудачников?..

— Ты, я как-то слышал, собирался на юридический?

Иван покосился на Василия, как показалось, своими прежними нездоровыми глазами — бывают такие глаза у людей, как бывают у человека нездоровыми сердце, желудок, печень, — потянулся к пачке сигарет. Закурил и заговорил тихо, без надрыва. Издалека.

— Ты знаешь, мы с тобой действительно, как два слесаря,— все о работе да о работе. Видел я таких: встретятся за бутылкой, вмажут по стакану — и сказать друг другу нечего. Дообщаются до того, что начнут спорить — где и как гайку закрутить. Пыль столбом.

— Что же делать, если и это — жизнь.

— Может, и так. Только кроме работы должно быть у человека еще что-то. Мечта, что ли... Не знаю, в общем, как сказать, но чувствую и всегда чувствовал: это должно быть. Я вот себя возьму. Как бы ни знал секреты своего фрезерного дела, какое бы удовольствие от своей работы ни получал, всегда остается во мне не согласная со всем, что делаю, часть, всегда мне этого мало. Всегда остается стремление усовершенствовать и станок свой, и свои инструменты, и самого себя. И чтобы до всего самому дойти. Ты же знаешь, у бати нашего весь слесарный инструмент был по его руке, весь свой инструмент он за многие годы работы сделал сам. А когда погиб, свои же работники поленились к матери сходить за ключами от верстака: распилили замок, который он сам сделал, и растащили тот инструмент. Думали, вид-

но, секрет батиного мастерства в его инструменте. Урвут и с ним уравняются. А место ему было, может быть, только в музее. Не научили, ты знаешь, нас уважению к старым мастерам.

— Кто не научил-то?

— Да хоть кто. Механик хоть того же дядю Витю Панченко тыкает. А кто он перед ним? Мелюзга. Взяли себе за правило — тыкать. Место свое надо знать. Какой он начальник, если с людьми разговаривать не умеет? А на него глядя, другие тыкают. Тут как-то давай меня на цеховом профсоюзном собрании разбирать за то, что не выполнил их очередную дурь, — в колхоз не поехал. Так один дядя Витя и вступился: «Чего, — говорит,— взялись парня донимать? Чем, — говорит, — он вам не угодил? Юрченко, — говорит, — настоящей рабочей кости. Я с его отцом, почитай, тридцать лет бок о бок работал, так парень — весь в него, нисколько не уступит. Вы, — говорит, — сами без роду-племени, а сживаете со свету представителя рабочей династии». Так и сказал: представителя. Хотели, ты знаешь, прогул мне влепить, да никто не проголосовал. Послушали-таки дядю Витю.

— Вот видишь, не так уж все плохо, есть совесть у людей.

— Есть, конечно, но совесть без профессиональной чести — ноль, каждый ведь знает, чего сам стоит, а так, когда все серенькие, проще самому спрятаться, затеряться среди себе подобных. Дурочку гнать. Вот и ушел я в одну хитрую организацию стропалем. Зарплата— та же, ткнули — пошел. Сказали — сделал.

— И не зовут обратно?

Иван усмехнулся, махнул рукой, встал и направился в куть. Слышно было, как загремел крышкой от фляги,— пил воду. Уже оттуда:

— Зовут, ты знаешь. Сегодня встретил механика. «Возвращайся, — говорит, — Юрченко. Со спецами трудно. Разряд дадим». Черта лысого им! Я, конечно, вернусь: привык, ты знаешь, мозгами шевелить. Но для начала покуражусь. Надоело, ты знаешь, одно и то же талдычить: майна — вира, майна — вира...

И возвратившись из кути, добавил:

— Все вроде довольны, а ты места себе не можешь найти.

Разговор приостановился. За окном взлаял вдруг пес Малый и тут же низко завыл, словно прорвалась бессознательно накопленная черная тоска по воле. Натужный крик собачьей души достал Ивана. Он дернулся к окну, постучал кулаком по переплету рамы.

— Да замолчи ты! — крикнул. Сел, задумавшись и отшатнувшись от Василия, от стола, по краям которого они сидели, от всего, что было в доме, что они видели, чего касались много-много раз.

Василий не стал его трогать. И не надо было его трогать. Не надо было срывать человека с той высоты, на какую вознесся его дух. Не надо было вырывать из той дали, в какую унесли его мысли. Где очищалась его душа и выравнивался ход его сердца. Где обретала силу та несогласная в нем часть, властно призывающая не идти на компромисс с той жизнью, в которой все вертелось и все вертелись и которая была противопоказана его природе, ибо в ней он терялся и терял себя.

До Василия вдруг дошло, что Ивану невозможно быть другим. Невозможно во имя наивысшей на земле правды. Что те, с кем он не согласен, только и ждут того, чтобы он стал другим, дабы беспрепятственно творить зло. Собственное извращенное представление о правильном устройстве жизни превратить в норму. И тогда можно будет напрочь порушить нечто главное, без чего нет и не может быть самого человека.

До Василия дошло, что люди подобные Ивану всегда были и всегда будут, и от того вдруг стало спокойно за будущее всего мира.

Снова взлаял и низко завыл пес Малый. Снова Иван поднялся и ударил кулаком в переплет рамы. Снова собака и люди замолчали — каждый о своем.

Разговор их на том не пресекся. День был длинный и тихий. Время от времени накрапывающий мелкий дождь не торопился промочить землю, и было свежо и на дворе, и на душе. В природе наступала та пора, когда лето должно было перелиться в осень, но тепло будет уходить не сразу, оставляя надежду на яркие солнечные дни.

Братья вставали из-за стола, выходили на воздух, подолгу сидели на ступеньках высокого крыльца родительско-

го дома, курили, неспешно распутывая накопившиеся между ними за последние годы узлы несогласия и непонимания. Иван рассказал, наконец, почему отказался от мечты стать юристом. История эта лишний раз доказывала Василию, что брата он знал мало или совсем не знал.

Забрали его как-то в отделение поселковой милиции, забрали беспричинно, трезвого, забрали потому, что хотелось кого-то забрать, а он подвернулся под руку. За здорово живешь. Вероятно, не понравилось, как отозвался на окрик, как подошел, как стоял, как отвечал. В отделении двое подвыпивших сотрудников долго составляли протокол «дознания», подчеркнуто обращаясь к Ивану не иначе как «носатый» (брату в юности местное хулиганье покалечило нос). Покуражились, пока не надоело, замкнули в «предвариловку», а утром, уже протрезвившись, выпустили, не дожидаясь своего начальства. И надо же было случиться, что, приехав в Иркутск сдавать экзамены в университет, Иван оказался в одном потоке с тем из двух сотрудников, который особенно изощрялся в «дознании». Он подумал тогда еще, что этот в своем рвении выслужиться многих сделает виновными перед законом. Теперь глядел на него, суетящегося и потеющего в милицейской форменной одежде, и уходило куда-то желание поступать. Хотел даже сразу уехать, но удержался, заставил себя ходить на экзамены.

Потом Иван длинно и сбивчиво рассказывал, как вернулся в Нулут, как вышел на работу, встал у станка, и душа его начала «благоухать как сад». Как понял, что ничего ему не надо, а мечты о юриспруденции — «блажь и дурость». Что правду свою должен искать там, где определила ему судьба.

* * *

В поезд Василий сел ночью. Истомленный сутолокой и напряжением последних дней, проспал часов десять, а проснувшись, поболтался по вагону и снова влез на свою верхнюю полку. Лежал, думал, слушал разговоры соседей по купе. А в поезде — известное дело — каждый норовит вывести на свое: на свои боль, радость, надежду.

— Да вы пейте, пейте чаек-то... Вот — сахарок, вот — конфетки, — удивленно приглашала старушка, лицо которой Василий не запомнил. Теперь, чтобы отвлечься, пытался представить говоривших и даже переместил подушку повыше, чтобы лучше слышать.

— Что вы, что вы,— в тон ей отвечал мужчина,— у меня свой припас, вы мое пробуйте, не брезгуйте...

— Да... — тянула старушка,—так вот и езжу от одной дочки к другой, а то — к третьей. А там — и к сыну заверну. Сам-то, знаете, два десятка лет как уже помер. С войны он был израненный да контуженный. Все мучился, бедный, и меня мучил, царство ему небесное... Ох как тяжело было жить и в войну, да и после нее... Ох-хо-хо... Досталась она нам, бабам, не приведи господи... Да и вы-то, мужики, все изломанные, покалеченные...

— А я-то, представьте себе, с первого дня был на передовой, до Берлина дошел и не единой царапины.

— Да что вы? — ахала старушка.

— Представьте себе, — утвердительно вторил ей мужчина. — Вот как войне начаться, ну вот завтра будто бы начаться, — вижу сон. Будто бы иду я, а впереди меня — высокий темный лес, и будто бы через него прямая-прямая дорога...

— Батюшки!..

— Представьте себе. Ну вот. Иду я по той дороге и так будто бы страшно мне, так муторно, ну прямо смерть моя наступает, и только! И тут будто бы на меня из лесу того — большой черный медведь. И давай меня ломать...

— Батюшки!..

— А я будто бы не сдаюсь да и столкнул его в канаву. А тут и лес кончился и снова светло так стало. Вот так я и войну эту столкнул. А было-то всего...

— Вещий сон-то, видно. Перед большой бедой всегда вещие сны бывают. А я вот ничего не упомню...

Мужчина кашлянул раз, другой, продолжал...

— Я-то, представьте себе, столкнул свою, а другая вот сына догнала.

— Что так? — участливо всполошилась старушка.

— У нас с женой — дочь и сын. Дочь народилась еще перед войной, окончила десятилетку и засобиралась на Дальний Восток на стройку.

— Где жили-то?

— В Ташкенте. Ну вот. Остались мы одни, загрустили, затосковали и наскребли последыша — сына то есть. Рос — не могли нарадоваться. Окончил школу — выучился на офицера, женился. Ну и мы ждем-пождем внуков. А тут — эта война в Афганистане. Ну и подал он заявление. Добровольцем, значит. Уехал, а через месяц приходит бумажка из военкомата, дескать, просим явиться в такой-то кабинет. Пришли с невесткой, а там говорят: «Не волнуйтесь, сын ваш и муж доставлен в тяжелом состоянии сюда, в Ташкент, в больницу». И сообщают адрес больницы той. Мы — туда. Володя наш и в себя не приходит, и не помирает. С месяц горевали мы около его койки, и помер Володя-то. Схоронили мы его, осмотрелись — и все кругом стало чужое. Внуков он нам не успел оставить, а невестке — до нас ли, стариков? Молодая, красивая — найдет еще свое счастье. А мы решили переехать поближе к дочери, да внукам во Владивосток. Вот и поехал я туда домик какой присмотреть, теперь возвращаюсь к жене. Соберемся, сходим поплачем на могилке-то Володиной — и в путь-дорогу.

— Да... никогда не знаешь, где она тебя подкосит, — начала старушка то ли для того, чтобы утешить соседа, то ли о своем в продолжении разговора. — Я тоже помирать было собралась, и дети уже съехались. Еще за года два, перед тем как самому-то сойти в могилу. Заболела, знаете, по-женски, а в деревне какие лекаря? А мне все хуже и хуже. Тогда дочка меня в район, а там и в область. «Рак, — говорят, — надо на операцию». — «И-и-и, — отвечаю, — какие уж там операции, давайте меня обратно, в деревню, в своих уголках хоть руки сложить». Но дочка настояла. Махнула я рукой и легла под нож. И живу, как видите, дай бог здоровья тому доктору, что болесь-то из меня ту страшную извлек.

Разговор для Василия принял тягостную форму и оттого стал неинтересным. Давило свое, только что пережитое. Да, в общем-то, никогда ему не пережить собственной боли, как никогда человеку не перешагнуть через самого себя — что-то да останется, остановит, повернет, столкнет лицом к лицу и укажет, откуда ты, кто твои мать и отец, из какого корня происходишь. Многажды раз видел Василий, как по-старинному — в «родительский», а по-сегодняшнему — в день памяти всякий год идут и идут люди на кладбище. Ползут ветхие старушонки и тащат за собой быстроногих мальцов. Поспевает молодежь, крепят шаг зрелые мужчины и женщины. Несут бережно укутанные узелки, спортивные и хозяйственные сумки с лучшей, какая нашлась в доме, провизией и непременно поллитровкой горькой — не для еды и питья, а чтобы в скорбном молчании склонить головы у дорогих могил, в кротком общении с усопшими близкими по крови людьми очистить душу от накипи быстротечного времени, хоть единожды в году соединиться на мгновение, слиться памятью своей, сердцем с прахом легшего в землю нескончаемого ряда предшествующих поколений, уходящего в глухую ночь гулких веков. Преклонить колена за дарованное великое счастье — появиться на свет и жить среди живых. И встать с колен, чтобы продолжать жить, кровью своей питая саму жизнь.

Василий был свидетелем, как в этот день, несмотря на самые жесткие запреты, люди ну хоть на полчаса, хоть на десять минут, хоть всего на одну минуту изощрялись в старании раньше положенного срока покинуть свои рабочие места. И уходят. Нет на свете ничего дороже и выше памяти крови, ибо в ней сосредоточено все то, что за всю историю своего существования накопило и упрочило, собрало и воссоединило Человечество: чувство родственных связей, чувство национальной гордости, чувство Родины. Чувство изначальности всего сущего — матери всех матерей — Земли, из которой поднялось и расцвело само дерево Жизни.

Никак нельзя человеку забывать, откуда он, а забудет — не будет знать, куда идти. И растеряется. И потеряет себя. И разом — засмеется и заплачет. И устанет жить. И перестанет бороться за жизнь. И погибнет...

На очередной станции поезд, уже

остановившись, вдруг дернулся, словно не хотелось ему впускать в свои вагоны новых пассажиров. Не хотелось и Василию, чтобы в их тесном и тихом купе появился еще кто-то, поскольку одно место на второй — против его полки — оставалось пустым. Не хотелось всякой, даже мало-мальской помехи, могущей порушить пока еще слабое, но уже наметившееся в нем примирение с потерей части его самого в ушедшем из жизни, единокровном человеке — брате Иване.

Но четвертый появился. Появился заметно, чуть ли не с порога навеличивая мужчину — «папашей», старушку — — «мамашей». Василий хотя и не видел соседа, но обостренным слухом своим уловил в голосе вошедшего и желание понравиться и осознанность того, что сделать этого не может, да и не умеет. Василий приподнялся, быстро взглянул на «зэка»—так уже окрестил про себя соседа. «Зэк» и есть: короткая стрижка, лицо бледное, какое бывает у людей, поставленных в условия, где нет человека «такого-то», а есть «осужденный такой-то». А «зэк» разряжал обстановку, решив, видно, с маху на первых встречных опробовать свой горький зэковский опыт общения с людьми — немало ведь, наверное, передумал о том, как «воля» воспримет его и как он сам сможет воздействовать на «волю».

— Вы, мамаша, интересуетесь, где я работаю? Летчиком я работаю. Лед, то есть, вожу. Видали, наверное, из окна вагона, как провожала меня моя кобыла Машка. Так, скажу я вам, кобыла такая только у меня и есть. Едешь, едешь, а она вдруг сядет на пенек и призадумается...

— Здоров ты, милый, врать-то, — небеспричинно заволновалась старушка. И тут же понимающе добавила: — Я хочу спросить тебя: что делать-то собираешься? Есть ли родители, еще кто? Куда едешь-то?..

— Эх, мамаша, хорошая вы, я вижу, женщина. В тещи бы такую, да всех дочек замуж, наверное, поспихивала.

— Почему же — поспихивала, сами в люди вышли. И про зятьев ничего худого не скажу.

Неудивительным показалось Василию то, что «зэк» в конце концов заговорил нормальным человеческим языком, на котором говорил до своего падения и которого не успел позабыть. А коль не успел позабыть, всегда остается надежда на возрождение, и это тоже Василий отметил. В нем начал пробиваться неподдельный интерес к разговору, свое на время отодвинулось, ушло куда-то в сторону.

— Вы, мамаша, правильно угадали, только что освободился я, пять лет отдал «хозяину». Я не буду убеждать вас, что я, мол, хороший и попал туда по глупости или по чьей-то злобе, хотя в зоне за все пять лет мне не приходилось встречать никого, кто бы в том, что сидит, обвинял только себя. Я только скажу вам для начала — и вам, папаша, скажу, что есть во мне большое желание выправиться и в людях жить по-людски. Иметь жену, детей, дом, работу. И чтобы не кололи глаза прошлым. Заслужить, чтобы не кололи... Только выслушайте, а я постараюсь рассказать по порядку, что и как со мной произошло.

До армии я жил как и все. Отслужил как все. Механик-водитель первого класса. Ну, устроился на автобазу — колымагу дали. Начал работать, осматриваться. Вечером — на танцульки и не заметил, как женился. Все в норме! Проходит год, другой, и вижу я, что в семье-то моей вроде что-то не то. (А жили мы у ее родителей.) Так вот. Все вроде своим-то не могу им стать. А между собой у них ну прямо любовь не разлей вода. Три-четыре дня не видятся и бросаются друг дружке на шею будто лет пять прошло. Поначалу даже радовался, что в такую семью попал, где ни ругани тебе, ни других недоразумений. Мои-то родители жили как на ножах, сколько себя помню, все отношения выясняли. Ну и стараюсь, работаю, друзей позабывал. А жили мы в доме барачного типа, где был общий на три семьи коридор. Там все разувались, снимали верхнюю одежду. Так вот. Пришел я как-то пораньше и в том коридоре задержался. Да и слышу разговор тещи с супругой. «И ты, — говорит, — сколько с ним собираешься жить? Что же, — говорит, — по сердцу пришелся? Для него ли мы тебя растили?..»—«Да, мама, — отвечает, — неудобно как-то сразу — взять и разойтись. Ребенка моего удочерил,

да и плохого — что же про него сказать?..» — «Ну и, — говорит, — будет с него, Оленька теперь у тебя не нагулянная, дело свое он сделал. Запись в паспорте твоем законная». — «Ну подожди, — отвечает, — не торопи меня...»

«Так вот в чем дело, — подумал. — Нужен я им был для того, чтобы своим чистым паспортом грех дочки прикрыть... Куда же, — думаю, — они тебя готовят...»

— И впрямь, — засомневалась старушка, — кому же они могли ее назначить?..

— В общем, прилип к двери — оторваться не могу. Помолчали они, и теща опять: «Ты когда в последний раз звонила Валерию?» — «Позавчера».— «Когда у него оформление документов?» — «В ближайшие три-четыре месяца». Теща вроде стукнула чем-то, в сердцах вроде. «Вот зятек свалился на нашу голову — уцепиться не за что! Пил бы хоть, что ли...» Выжидали, выходит, пока я закуролесю, и кранты мне. Понимаете! Я в жизни своей ничего подобного не встречал. На что уж в зоне дерьма полно, но чтобы так ни за что ни про что человека втоптать... Дернулся я и в мордобойку — есть у нас такая на вокзале. Врезал пива, чего покрепче, и все во мне перемешалось. Помню, что приволокся домой, кричал на них, обзывал, поубегали они от меня, а проснулся — в милиции. Закружилась карусель, в общем. Теща на меня — заявление, супруга — заявление, какие-то свидетели выискались, каких никогда и в глаза-то не видел. Справки представили о телесных повреждениях, о том, что это было у меня в системе. Но главное... на работе такую характеристику выдали, что хуже меня будто никого и нет.

— Батюшки! — охнула старушка. — А там-то чего не разобрались?

— И никто не стал разбираться. Провернули все в считанные дни. Будто у них все уже было наготове. Говорю я, предположим, что-то следователю, а он этак боком на меня поглядывает и только одно повторяет: «Разберемся, подследственный, разберемся». И разобрался на три паски, да две в зоне накинули — психовал я первый год, места себе не находил.

Все в этом рассказе, не считая мелочей, было выверено и расставлено по своим местам. И люди встречаются глаже камня и с такими же каменными внутренностями. И сам человек, занося ногу для первого шага в самостоятельную жизнь, не всегда знает, куда ее поставить. Вытянет вперед себя руки, растопырит пальцы и бредет по стертым и выбитым дорогам бытия, пока не долбанется о что-то острое и твердое. Покрутит головой, помычит и — дальше. А там и яма, из которой уже никогда не выбраться. Но бывает — так долбанется, что задумается: и начинает сначала один глаз разлипаться, затем другой. И прозревает человек. Заново принимается ощупывать знакомые предметы, искать всем и всему названия. Здесь для него и наступает самое время взять в руки фонарь и средь бела дня идти на улицу — на поиски такого же зрячего, как и сам.

Производство хотя бы взять. Не поверил Василий парню, что на работе было у него все гладко. «Колымагу дали» — не могло это его устраивать. В среде рабочей друзей не искал — и это начислялось, как зарплата. А пришло время расчета — разбираться не стали, вытолкнули на широкую скамью подсудимых. Плюнули и растерли.

«Бывает еще у нас так, ой как бывает...» — размышлял Василий, припоминая до мелочей и свой визит к руководству предприятия, где работал Иван.

Пошел он туда, имея просьбу: чтобы оградку помогли изготовить да автобус выделили для поездки на кладбище. Но главное — хотелось посмотреть на людей, о которых много слышал от брата и в существование которых верил смутно, зная по опыту, что с таким характером, какой был у Ивана, ужиться с кем бы то ни было — задача почти неразрешимая. Оттого и пихали его то на сельхозработы, то на разгрузку строительных конструкций, где и нашел он свою смерть.

Когда назвал себя, вроде даже и не расслышали, кто он. Высказал просьбу, вроде и не поняли, что ему нужно. Из одного кабинета перешел в другой, а там и в третий. Сидят, усердно шелестят бумагами, хватаются за телефоны. «Дойму же я вас», — решил Василий и направился прямо к директору. Вошел, не

спрашивая разрешения, сел, намеренно не отвечая сразу, кто он и что ему нужно. И лишь насладившись начальственным недоумением, сказал холодно, твердо:

— Я — брат Юрченко, хотел бы знать причины его гибели.

И, как пишут в романах, — «в мгновение ока все переменилось». Директор, оторвав тело от стула, принялся ссылаться на занятость, указал на бумаги, на телефоны, на окно за спиной, выйдя из-за стола, повел речь о плане, о его личных, как руководителя, сложностях в управлении предприятием, о том, что за всем «не усмотришь», везде надо «самому», ни на кого «нельзя положиться». Кончил тем, что через внутреннюю связь вызвал к себе инженера по технике безопасности и еще кого-то. Те явились незамедлительно, словно наготове стояли за дверью.

Пуще директора засуетились подчиненные — бегающие глаза, взмокнувшие лица, потерянные голоса. Схему, вычерченную на ватмане, достали, на которой изображены были и линия электропередачи, и как стоял автокран, и где был исполняющий обязанности стропальщика ввиду производственной необходимости фрезеровщик И. Н. Юрченко.

Слушал их Василий, смотрел на них и дивился человеческой податливости на всякое зло. Выходило: виноват во всем автокрановщик — тоже погибший, поскольку стрела при разгрузке конструкции коснулась проводов линии электропередачи. Смешно было бы уцелеть. Но еще смешнее было допустить, чтобы люди работали вблизи страшной силы, каким является ток высокого напряжения в тридцать пять тысяч вольт. Василий даже вздрогнул, представив, как с жутким потрескиванием электроны скачут внутри проводника, словно подталкиваемые напирающими сзади собратьями, и по пути автоматной очередью разряжаются по двигающимся живым мишеням. Плевать им, что через них в конкретной человеческой семье будет горе, а он, Василий, будет сидеть в этом кабинете с совершенно измученной душой, с чувством близким к гадливости будет слушать, как добивают поверженных в прах истинные виновники случившегося — со знанием дела, с отстраненной от всего на свете совестью.

«Интересно, — глядя на них, думал Василий, — как бы любой из вас вел себя на моем месте? Кричал? Взывал к справедливости? И кричал. И взывал к справедливости. А как бы он вел себя, оказавшись на их месте?..»

Здесь его мысль оборвалась: ответа не было. Оборвалась, потому что разрядилась в саму себя. И это было мучительно. Только человеку дано познать безвыходность, всякая другая сила на свете в кого-нибудь или во что-нибудь разряжается, на кого-нибудь или на что-нибудь оказывает действие. Но ко всякой, однажды недодуманной мысли человек возвращается. И Василию сейчас нестерпимо захотелось поделиться ею. Он вспомнил, как перед отъездом мать сунула в портфель бутылку вина.

— Может, где помянешь Ваню...

Тогда он, целиком ушедший в себя, горько усмехнулся — где же найти способного понять собеседника? Теперь поразился мудрости матери, угадавшей состояние сына, из которого есть только один выход — через людей. Он поставил бутылку на стол, извинился, впервые за долгую дорогу внимательно посмотрел на своих попутчиков. Старушка и пожилой мужчина ничему не удивились, словно явление его народу было им ведомо в самом начале, парень забеспокоился, но смотрел с любопытством: для него Василий был объектом новым, который еще надо познать и завоевать.

— В самом деле,— не зная, с чего начать, сказал Василий, — едем мы в поезде давно и не познакомились, хотя я переслушал все ваши разговоры.

— И ты, милый, чайку с нами попей, — поддержала его старушка, — видим, как на своей лежанке вертишься... Мы тут про жизнь все, дорога-то дальняя.

— Да...— для чего-то посмотрел в окно мужчина, — дороги расейские не объездить, не обходить. Уж где я за войну-то не бывал. Только сгоним немца из одной страны — глядишь, она-то уже и кончилась. А у нас — едешь-едешь, идешь-идешь...

— А я так нигде не был, — решился вступить в разговор и парень. — Сейчас вот еду, а куда — сам не знаю.

— Не верю я, что не знаешь, — обо-

рвал его Василий, — давай уж до конца выговаривайся, а для начала — выпьем. Интересны мне твои разговоры...

Разлил в стаканы из-под чая вино, не выпуская из руки бутылку, добавил, как бы сглаживая резкость тона:

— Мать вот в дорогу положила. Помяни, говорит, с людьми брата... с похорон я...

Подал стакан парню.

— Зовут-то тебя как?

— Мишкой.

— Давай, Михаил, за брата моего Ивана, а потом уж и за твои, так сказать, проблемы...

* * *

Накатанная многими колесами железная дорога надвигалась названиями станций, грохотом мостов через большие и малые реки, унылым или, наоборот, веселым пейзажем за окном. Старушка дремала, укутав ноги одеялом, мужчина читал газету.

Они говорили, как давно знакомые, и в голове Василия уже не мелькало в отношении парня удобное и обидное определение «зэк». И парень вспомнил себя неломаным и некрученым, каким был пять лет назад, только в рассуждениях прибавилось зрелости и уверенности в свой нормальный завтрашний день.

Василий и радовался этой уверенности, и дивился настроенности на преодоление.

— Ты вот, Михаил, не понял, за что тебя ударили. А не боишься, что снова ударят? Не боишься снова быть брошенным на землю вниз лицом? Что делать-то будешь, если долбанут или сам где накуролесишь?

— Не выйдет. В зоне народа глупого мало попадается, лучше любого юриста разберут любое преступление. И если уж, освободившись, снова становятся преступниками — натура так велит. Природа человеческая пакостная. Такие и в зоне обживаются как в родительском доме, и коль ты послабее, так и норовят тебе подлянку сделать. Мне ведь два года как добавили: дал одному в морду, а он упал и орет, будто его режут — заранее рассчитал, что услышит кто надо. Но есть другие люди, их бы я даже и не держал там. Через такие душевные муки прошли они, через такие казни и инквизиции, что рядом ни с кем нельзя поставить. Вот я себе нашел корешка — год ему еще отбывать. Кремень мужик. На воле художником был, и, говорит, в большие метил художники. На машине человека убил. И человек-то, говорит, всего ничего, бич какой-то, в пьяном виде под колеса угодил, а ему — на полную катушку. Так вот он-то и объяснил мне смысл жизни, через него и я много чего уразумел. «Ты, — говорит, — Миша, тех людей забудь. Их равнодушием бить надо, чтобы чувствовали вокруг себя вакуум, пустоту. Они ведь потому друг другу на шею бросаются, что устают от собственной исключительности. И друг другу они чужие, какими были и тебе. Все у них рассчитано и измерено, каждый шаг, ничего просто так человеку не сделают. Но самое страшное,— говорит,— добром показным пробивают себе дорогу. Исключительность свою, когда надо, прячут подальше. По головам человеческим ступают и такие карьеры делают, что только диву даешься». Не сразу я поверил, долго ходил, смотрел, как ведет себя, как держит, поступает. А поверил — жить легче стало, почувствовал, что выкарабкиваться стал из ямы. На волю захотел. К людям захотел.

— Дрянного человека, говоришь, убил? Но человек-то, он всякий — человек: и дрянной, и хороший. У всякого жизнь одна, всякому хочется проползти свою от сих и до сих. Да и закон должен быть один.

— Я и не спорю. И корешок мой никого не винил. «Должен, — говорит, — и я свое отбыть, иначе каждый станет делать, что ему вздумается». Но в тех условиях по-другому жизнь оцениваешь. Набьют, скажем, в камеру человек шестьдесят. Сидят люди — все пропитано предостью и ненавистью человеческой. И каждый знает, за что другой сидит, — там ничего не скроешь. Сидят убийцы, сидят такие, которые хотели убить, да не добили свою жертву по каким-то причинам. И, скажем, ползет по стене клоп — жирный и все равно жаждущий крови, так никто его не трогает, будто жизни его цены-то нет. А упадет на пол чашка, все вздрогнут — так, кажется, и вцепятся друг в друга. Вот и мера тебе...

— А кто этот Валерий?

— Валерий?.. А бог его знает. Я и не пытался узнать. Только раз как-то мелькнуло это имя у супруги на языке, вроде от обиды проговорилась. Я тогда подумал — дружок какой в прошлом и не придал значения.

— Ну а сейчас куда путь держишь? — подобрался Василий к главному.

— Сейчас?.. — парень, слегка остранившись, внимательно посмотрел на него, словно раздумывая — стоит ли говорить? — А не поверишь. Я и сам — верю и не верю. Товарищ мой, художник, больше жил в деревне. «Природу русскую, — говорит, — люблю писать. Характер русский». Так вот. Имел он переписку с одной семьей из той деревни, где и квартировал. «Истинно русские люди, — говорит, — без хитрости и лукавства. Строги и человечны». У хозяев у тех дочь ребенка без мужа воспитывает. Так он уговорил меня написать ей. «Ты, — говорит, — напиши ей все как есть, ничего не скрывай и, я надеюсь, если не жену верную, то друга в ней обязательно найдешь». Я и написал — не письмо, а чуть ли не целую книгу. «Чего, — думаю, — терять-то мне?..» Ответила. Потом фотографию прислала свою и сына. А когда освобождаться мне, получил я от нее это вот письмо.

Парень полез в карман, вынул похожий на записку вчетверо сложенный тетрадный лист. Текст был небольшой, написан мелким скорым почерком. «Я, Михаил, тоже рассчитываю на свое маленькое женское счастье. До сих пор я жила без обиды на людей, потому не хочу, чтобы обидели и меня, и моего сына еще когда-нибудь. Обидели словом или поступком. Три года живу одна, два из них — жду твоих писем. Не скажу, что в них ты рассуждаешь, как зрелый мужчина, на которого можно в жизни положиться, но это поправимо. Вместе мы справимся и с твоей обидой.

Я жду тебя при одном условии: приезжай с открытым сердцем».

— Видишь как: приезжай, дескать, только с открытым сердцем...

— Дурак, ты, Миша, — что подумал, то и сказал ему Василий. — Твой художник действительно мужик с головой, заранее предусмотрел, куда тебя пристроить. К хорошим людям то есть пристроить. Где нельзя не быть человеком. А ты и здесь с обидой... Ду-рак ты, Миша... Дурак... Василий почувствовал желание сказать больше. К нему вдруг вернулось ощущение безнадежности, какое не покидало его в давних разговорах с братом, только к безнадежности примешивалось еще что-то, и он нарочно растягивал слово «ду-у-ра-ак», попытался дать название этому новому, чтобы уж не говорить в пустоту, а твердо знать: слова достигнут цели. Да и не Иван сидел перед ним. «Этот выкарабкается, — мелькнуло в мозгу, — и я должен помочь ему, должен». И Василий заговорил — в первый раз за всю их дорогу длинно, горячо и пока сложно, надеясь со временем найти слова, способные достать парня. Как равный с равным, как старший брат с младшим.

— Понимаешь, существуют заведомо ложные положения, которые неизменно выдвигаются, если требуется решить какой-то жизненно важный вопрос, и тем самым это решение сводится на нет — затушевывается, принижается, отодвигается. Вот несколько таких: «хорошего в жизни все равно больше». Или: «хороших людей все равно больше». Обобщили и, образно говоря, словно бы плеснули из банки на холст жизни голубой краски — и отодвинули решение проблемы. Успокоились сами и на время успокоили других. О молодежи, например: «но все равно молодежь у нас хорошая». Понимаешь, этак веско сказали: «но все равно у нас молодежь хо-ро-ша-я»,— и словно бы перестала существовать проблема наркомании, пьянства, проституции, а в конечном итоге — заметно снижающаяся год от года духовная полноценность наших вертлявых балбесов. Или еще более категоричное: «мы — оптимисты, мы уверенно смотрим в завтрашний день». Смотреть, конечно, надо, но и не забывать осматриваться, а замечая плохое, неспешно разбираться, откуда ветер принес на наши головы черную тучу безверия, бездеятельности, бездуховности. От этих заведомо ложных и как бы узаконенных положений вред идет колоссальный — людям, стране, нам с тобой... Квалифицировать их можно как национальное бедствие, ибо положениями этими мы отгораживаемся от всего, что мешает совершенствоваться, находить действенные средства защиты

от конкретного зла... Василий остановился, уловив в глазах парня не то сомнение, не то тревогу, но смотрели эти глаза с интересом. «Непонятное мету. Надо проще. А, черт с тобой», — решил, чувствуя, что и его, наконец, прорвало и ему надо выговориться.

— Но беда здесь даже не в самих положениях и не в говорунах, которые на разных уровнях их произносят. Беда в том, что существует немало людей, которым такая постановка вопроса выгодна. Они готовы памятник поставить тому, кто выдвинет очередное, потому что, чем больше таких положений, которые сообразно злобе дня можно менять как рубашки — тем лучше. Удобнее где-нибудь на кафедре в институте сохранять за собой теплое местечко. Проще морочить головы подчиненным где-нибудь в райкоме или исполкоме. Проще таких, как ты, дураков, загонять в тюрьмы. А те, кому это выгодно, рушат тем временем все, до чего могут дотянуться руки. Природу рушат — моря, озера, реки, леса. Выкорчевывают национальные традиции, отшибают память, чтобы человек и думать позабыл, откуда идет и куда ему дальше топать. Отрекся от могил своих предков. Отучился от всего, что составляло смысл жизни, что крепило уклад семьи, что наполняло верой вчерашний, сегодняшний и завтрашний день матери, отца, деда, прадеда.

Понимаешь, Миша, твой художник, видно, поберечь тебя решил, потому и сказал неправду: не равнодушием таких людей бить надо и не с обидой в сердце. Разоблачать их надо. Только с мозгами разоблачать. Я и сам не знаю, как это делать, да и никогда не думал об этом, пока брата не похоронил и не понял, что Иван — брат то есть мой — лучше меня знал, как жить, хотя я и старше и образование высшее имею, а он был всего лишь простым рабочим. Тут дело не в годах и образовании, тут, видно, душу образованную надо иметь, чтобы в душе-то этой присутствовала нормальная человеческая совесть...

Подвел итог и тут же осознал, что последнюю фразу сказал с чьих-то слов. Смутно почувствовал это и парень. Но Василий не дал ему сказать, заговорил снова, пытаясь вывернуть на главное.

— Вот ты говорил, что нет такого осужденного, который бы подолгу не смотрел на забор, на дорогу, ведущую из зоны. И ты смотрел. И думал, конечно, о том, как будешь жить, как воскресишь в себе человека. А вышел — с обидой и уже обиду свою готов перенести на ту, с которой собираешься начать новую жизнь. И ты ее обидишь. Обидишь непоправимо. А за что? Неужели эти пять лет не породили в тебе естественного желания сделать хотя бы одну-единственную живую душу счастливой?

— Да это я так сболтнул. Прости ты меня. Там ведь почти каждый кого-то из себя изображает. Вот как вошел в купе, так и начал дуру гнать. Сначала бабка эта урок преподала, теперь — ты. И я рад этому. Ой как я, Вася, рад этому...

Парень последнее сказал неожиданно тихо, затем вдруг откинулся спиной к перегородке купе и засмеялся. И так же внезапно склонил голову к коленям, обхватил руками. Василий же, ни слова не говоря, поднялся, вышел покурить.

* * *

В тамбуре было накурено и одиноко. Это место человек проскакивает быстро, а если и приходит напихать себя никотином, то долго не задерживается. Но сейчас оно как нельзя лучше подходило к настроению Василия. Он думал о том, что вот жизнь, каждый норовит назначить ей свою цену. Один карабкается к ней через всю войну и — пусть во имя самой жизни — убивает жизнь в других и спасается. И, спасенный, начинает новую жизнь, надеясь продолжиться в сыне, а тот обрывает цепочку, падает от тех же пуль, какие выпускал когда-то в других отец. А сыну его для того, чтобы продолжить свою, зачатую уже во внуке, не хватило, может быть, всего одной ночи...

Старушка эта... Она и не карабкалась. Она была согласна помереть, и за смирение и покорность судьбе жизнь словно бы вознаградила ее и веком долгим, и покойной старостью. И кто знает, может быть, в смирении и покорности ударам судьбы и есть ключ к мудрости? К наивысшей гармонии между самой жизнью и самой смертью?

Или парень. Ткнули в душу, как в зубы, он и упал. Налетели, попинали. Вместо того чтобы приняться за излечение этой самой души, на целых пять лет поместили с отбросами человеческими, да еще и людей с ружьями да собаками приставили. И усмотрел ведь среди отбросов-то золотник, потянулся к нему, и тот для него засверкал, дорогу осветил к возрождению, и выкарабкается, заживет своим домом. И непакостно заживет — по чести и совести. Детей народит. Чужого ребенка своим сделает.

А Иван... Для чего-то и ему дана была жизнь. Как и Василию дана или Петру, Сидору, Никифору. Как всякому. У всякого-то ведь и голос, и походка, и облик, и завитки на кончиках пальцев— свои. Не чужой же век заедать приходит человек, а созидать человеческое. Крепить и вздымать к небесам здание духовное — через слово, работу от всего плеча, поступки по совести. Через правду, в какие бы лохмотья ее ни нарядили, в какой бы дальний угол ни загоняли, какую бы напраслину на нее ни возводили. И он хотел жить по правде. Он шел к людям утверждать правду.

Василий вспомнил, как перед отъездом ходил по дому, заглядывал во все уголки, в тумбочки, шкапы, кладовку. Внимательно осмотрел двор. Очень хотелось увезти с собой на память хоть какую-то вещь, при взгляде на которую пришла бы мысль о брате. Вещь нужна была небольшая, способная уместиться в портфеле и чтобы непременно сделанная его руками.

Такой не находилось: поправил забор, изладил калитку, перекрыл крышу — всего этого не увезти. Тогда начал просматривать старые бумаги, книги по фрезерному делу. Закладка, письма, открытки... Не то! Не попадалось искомое. Василий не отступал, всматривался в трудный почерк Ивана и в двух новеньких тетрадках наткнулся на отрывочные записи, сделанные, видимо, сравнительно недавно. Что-то вроде дневника. Вчитался и в который раз поймал себя на мысли, что не знал Ивана. Никто не знал. Всем только казалось, что знали, а заглянуть поглубже не удосужились. Записи обо всем и обо всех. Собственных мыслей или заимствованных — этого Василий утверждать не мог.

«...Человек рождается для того, чтобы пробудить в другом человеке совесть и тем самым как бы приблизиться к нему, сделаться родным не по крови, а по осознанию своего места в окружающей жизни. Такая связь прочнее любой родственной. Совесть, как и ум, может быть глубокой или, наоборот, — поверхностной. Как и ум, требует она постоянной над собой работы, самообразования и воспитания. Широко образованная совесть — когда она принадлежит всем, точно так же, как история, — не наследство царей, отдельных правителей, а всего народа. Такая Совесть бывает у больших писателей, художников».

«...Родственники меня не понимают. Не понимает брат Василий, хотя он-то и должен бы понять. Почему не понимают?.. в этом надо разобраться».

«...Многого от окружающих я не хочу. Помолчи там, где молчанием своим можешь помочь другому. Скажи там, где ждут от тебя слова. Не пренебрегай тем, кто живет рядом с тобой: сострадание необходимо для продления в самом человеке человеческого».

«...Почему меня травят? Всякое утро, уходя из дому, мне кажется, что ухожу в последний раз. Не хочу возвращаться к родным, но и не хочу идти туда, куда иду. Челнок швейной машины «Зингер», как и я, двигается в двух направлениях, но при этом ровной строчкой ниток скрепляет два куска материи. К этому и должен сводиться всякий смысл бытия. Я же ничего не скрепляю и никого не соединяю. Потому меня и травят...»

Как и телеграмму, сообщающую о гибели брата, записи эти Василий перечитал много раз. Что-то принял сразу, что-то начинал понимать только теперь. Но одна фраза не укладывалась в мозгу: «Уходя из дому — ухожу в последний раз...»

Николай Капитонович Зарубин родился в 1950 году в г. Тулуне Иркутской области. Закончил Иркутский государственный университет. Член Союза журналистов СССР. Работает в редакции газеты «Путь к коммунизму» в г. Тулуне.

В альманахе «Сибирь» публиковался его очерк «Красота для людей» (Сибирь № 3, 1987).



Геннадий Русских

Живая Ольхонская степь

Это уже какой-то закон природы, не только в России, но и во всем свете... если в стране владение землей серьезное, то все в этой стране будет серьезным, во всех то есть отношениях, и в самом общем и в частностях.

Ф. М. Достоевский

...И снова я разбиваю палатку на пологом берегу безымянного Ольхонского сора и с наслаждением окунаюсь в двадцатиградусную теплынь прогретой до самого дна, чистейшей байкальской воды, а вечерами и чуткими на каждый шорох и звук короткими летними ночами долго лежу и слушаю непривычную для меня, дикую хоринскую степь...

У каждого свой Ольхон. Завзятого рыбака-непоседу тянет сюда, разжигая азарт и страсть, отборный маломорский омуль. Пробирается рыбак к острову, точно горбуша на нерест, обходя запреты, проваливаясь под лед, вступая в конфликт с властями, платя неимоверные штрафы, обмораживаясь на льду, но упорно пробиваясь вперед, ради удовлетворения собственных пристрастий. Вот уж поистине — охота пуще неволи. У иного-то и улова всего два-три десятка рыбьих хвостов, расходов на амуницию не покрыть, но зато уж душенька поуспокоилась на год вперед.

У туриста своя корысть — пляжи, к примеру, красоте и масштабности которых позавидует и черноморское побережье. А седая древность, «преданья старины глубокой!» По сей день сохранились на острове многочисленные каменные стены, кладбища, остатки дорог и стоянок древних жителей этих мест, их рисунки и надписи на скалах. Тут уж удивлений и восхищений не на один год.

Особенно любим этот край художниками — такой натуры, как здесь, не встретишь, пожалуй, на всем остальном пебережье Байкала. Кто-то увидит и перенесет на полотно редкий для этих мест, но жестокий маломорский шторм. Или увидит Ольхон таким, каким описал его в очерке «Байкал» русский писатель-путешественник Дмитрий Иванович Стахеев.

«Вид острова издали очень живописен, но вблизи он теряет всю свою прелесть: кругом голые скалы и утесы, бьется об них, никогда не умолкая, волна Байкала; белые чайки и гагары носятся около, выжидая добычи из моря, везде, куда ни посмотришь, камни да камни и кругом все как-то безжизненно, пусто и глухо...»

А вот как описал Ольхон в своих «Письмах из Сибири» академик Владимир Афанасьевич Обручев.

«Тому, кто посмотрел бы на остров с высоты птичьего полета, представилась бы приблизительно картина гигантской вафли, плавающей на воде и украшенной зелеными овощами. Тому же, кто взберется на высоту крутой горной стены, представится несравненно более величественное зрелище, справа и слева на наи-

большей высоте стоят владыки сибирских лесов — гордые кедры; внизу, у подножья их трона, расположились серьезные стражи — ели и сосны; далее березы и осины — приветствующие, кивающие, льстивые и шелестящие вассалы, а совсем глубоко внизу находится тесная толпа простого народа — ольха. Ковер зеленой травы покрывает почву; однако в середине между княжескими сиденьями лежит гигантская каменная лестница, широкие ступени которой спускаются до синего моря или даже почти в самое море. Волны весело плещут ввысь на каменные ступени, оставляя на них серебристую пену воды».

Эти слова Обручев написал на западном берегу острова. Мне же больше всего запал в душу берег южный, степи ольхонские, или, как сурово назвал их Стахеев, «скалистые трущобы». Их дикая неброская красота пробуждает во мне какое-то непонятное, беспомощное чувство робости перед природной стихией, перед этими скалистыми сопками-гольцами, крутыми гранитными утесами, за которыми, кажется, уже ничего нет, край земли подступил, а поднимешься на верхотуру и вновь перед тобой неброская, и вместе с тем величественная панорама высоких байкальских берегов, простор воды, голубая осиянная даль. И хоть небогата природная палитра — всего несколько цветов преобладают в ней: синий, белый, голубой да желто-зеленый — но до чего же уж сочна и щедра на множество оттенков. И пахнет здесь как-то по-особому — травой богородской, терпкой степной полынью, низкорослой, с голубоватым отливом мягких листьев, теплой землей и байкальской чистотой и свежестью. И весь травяной покров, редкий и низкорослый, сквозь него песок виден и издали, сопки-гольцы кажутся покрытыми серо-голубым бархатом.

Помню первый раз я поймал себя на мысли, что подобное я где-то видел — в Монголии ли, в Читинской области, в Бурятии. Но там все гораздо масштабней, размашистей, здесь же, на Ольхоне, в один день можно проехать весь остров из конца в конец и побывать в разных природных поясах — в тайге, лесостепи, степи и еще пустыню прихватить — это уже новейшее образование,— воочию увидеть барханы. И когда подумаешь, что этот благословенный, уникальный край в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей может навсегда исчезнуть, то поневоле наряду с робостью перед этой природной стихией пробуждается какое-то сложное и непонятное чувство жалости к ней, ее слабости противостоять вмешательству человека в тысячелетнюю хрупкость.

Вечереет. Сумерки в степи — это непривычная для жителя лесной полосы игра света и тени: на вершинах гольцов еще вспыхивают солнечные блики, а в долинах уже воздух фиолетово густеет. И вот уже ночь подступила, но еще долго-долго, почти до самого рассвета, за материком, на западе, тускло, едва приметно, или это просто кажется, зеленеет узкая полоска неба — отблеск ушедшего дня.

Ночь делает еще пронзительней чуткую тишину, обостряется слух, и тогда отчетливо доносятся и многоголосое блеянье овец в расположенной на другой стороне сора чабанской отаре, лай собак и глухой конский топ; а вот рядом, за брезентовой палаткой, осыпались камушки — мышка ли, суслик пробежали.

Темное небо лежит низко и неподвижно, разрезанное на горизонте неровной, плавной цепью гор, и на нем отчетливо видна каждая звездочка млечного пути — так чист и прозрачен воздух. Что-то рериховское, космическое есть во всем этом великолепии. И покажешься сам себе вдруг никому не нужной маленькой песчинкой, прахом земным перед этой вечностью. И охватит тебя мгновенный первородный ужас, и вроде ты совсем уже и не ты, подвергающий все сомнению и поверяющий разумом опыт тысячелетий, а древний пращур застыл в восхищенном раболепии, суеверно шепча молитву, в бессилии понять и постигнуть величественную эту красоту.

Может, сам Чингисхан молитвенно припадал к этой земле челом, собираясь в дальний поход. Ведь по легенде именно здесь проходил со своими полчищами, дикими и несметными, этот «великий Темучин, сын Багадура», не знавший никогда поражений и «повелевавший многими народами», за что «бог отдал Темучину всю землю» и нарек этого владетеля мира Великим ханом.

По преданию, на Ольхоне он разбивал свои разноцветные шатры, окруженные кибитками,

а пришел он якобы сюда по перешейку, соединявшему когда-то остров с восточным берегом. От этой стоянки, как повествует легенда, остался на острове большой таган с котлами и лежащей в одном из них лошадиной головой. Здесь же на пещерном мысу будто бы и захоронен великий монгол, после того как совершил все свои величайшие завоевания.

И не его ли грозный дух, по преданию бурят, поселился в одной из пещер близ Шаманской скалы? И по сей день этот умный дух считается хозяином острова. Почитание его было когда-то так велико, что местные жители, хоринцы, без крайней нужды не нарушали покой священных мест. Даже следуя по особым делам, ни один из них не решался проехать мимо пещеры верхом на коне. Каждый всадник спешивался и вел коня в поводу, шепча слова заклинаний и призывая умного духа не гневаться.

Ранним утром степь тиха и пустынна. Не видать даже птах малых, только слышно, как плещется в спокойной воде рыба. Краски степи приглушены, почти вся она кажется какой-то пепельной.

Рядом с палаткой берег перекопан — кто-то недавно поработал здесь лопатой. Вот особенно глубокий срез: три-четыре сантиметра подзола, а дальше песок, песок, а под ним крепкий и нерушимый скальник. Скудная, бесплодная земля.

Выходит, степь степи рознь? Но почему же так, почему в донских степях — под Курском, Воронежем — лежит на поверхности толстый, почти метровый слой чернозема: вбей оглоблю — дерево вырастет, — а здесь плодородящего слоя едва-едва хватает, чтобы вызреть скудной травке?

Виной тому погодные условия. Хоть остров и окружен со всех сторон водой, ольхонским степям не хватило влаги — недостало ее, чтобы вдоволь оросить травяной покров, не осталось и после — для прения и перегнивания растительных остатков.

«При переваливании через Приморский и Байкальский хребты воздушные массы скатываются с гор в котловину, значительно ускоряются и нагреваются. При этом предел насыщения водяного пара повышается, относительная влажность падает и осадки на западном берегу и на острове не выпадают. По мере движения над водой воздушные массы вновь охлаждаются, предел насыщения водяным паром снижается, возрастает относительная влажность и на восточном берегу острова выпадают осадки». Так объясняет формирование погодных условий на острове книга Г. И. Галазия «Байкал в вопросах и ответах».

Для ольхонских степей характерно и такое явление, как сублимация — испарение снега в зимнее время из-за сильной иссушенности воздуха и активной солнечной радиации. Подобное наблюдается в Забайкалье и в Монголии, это-то и дает возможность пасти скот круглый год на нагуле, на естественных травах и получать самое дешевое и самое ценное по питательности мясо.

Помню, когда я в первый раз приехал на Ольхон — а было это в начале апреля — то поразился тому, что здесь практически наступило лето. Кругом стояла удивительная сушь, сильно пахло чабрецом, талой землей, ярко светило солнце. А то, что зима не сдала своих позиций, угадывалось только по тому, что со стороны моря дул студеный ветер, да кое-где в каменистых разложьях уцелели остатки снега. А еще несколько часов назад, в ста километрах от озера мы попали в самый настоящий шквал — снежную круговерть. Это была «зимняя гроза». Окрестности обложило тяжелыми свинцовыми тучами, и повалил такой густой, обильный снег, что мы сбавили скорость до двух-трех десятков километров в час. А потом подул вдруг сильный северо-западный ветер, да такой холодный, что ветровое стекло обмерзало за считанные минуты, дворники оплыли пористой желтоватой наледью и толку от них было мало. Тяжелый грозовой морок скрывал округу, все потонуло в тяжелой серой зге.

Мы долго поднимались по чавкающей грязи на, казалось, бесконечный перевал, и думалось, что где-то там, наверху, обрушится на нашу замызганную машинешку всей своей тяжестью, исполинской мощью снежная лавина. И вдруг мы вынырнули в яркую полосу солнечного света, а тяжелая снулая муть, точно заговоренная, остановилась, вытянувшись в направлении северо-востока, а впереди расстилалась бесконечная белесоватая синь, лишь кое-где ис-

пещренная пометами легких перистых облаков.

Давно проехали указатель Ольхонского района, а все ждешь чего-то необычного, характерного для этих мест, но до самого райцентра тянутся обычные для Сибири леса, в которых преобладает в основном лиственница. Но едва въедешь в Еланцы, обогнув крутой вал, сразу неожиданно попадаешь будто в другой мир — крутых каменистых сопок-гольцов, обрывистых песчаных угоров, с глубокими, похожими на шрамы разложьями и оврагами. А дальше пойдут степи, порой долгие, кажется, бесконечные, как песня старого кочевника-арата.

Привел меня тогда в Ольхонский район не праздный интерес: в связи с созданием вокруг Байкала национального парка хотелось разобраться — как же все-таки будет решаться вопрос развития сельского хозяйства в этом традиционно овцеводческом регионе. Ни много ни мало почти 50 тысяч овец пасутся здесь ежегодно.

...В путь на дальние стоянки мы выехали с раннего утра — дорога неблизкая, где просто по голой степи, где по скальнику. Заставшая нас накануне в дороге снежная круговерть наконец пробилась и сюда, но была уже слабым отголоском того, что выпало на нашу долю. Было ветрено, низко бежавшие рваные облака изредка пробрасывали колким снежком, который неугомонная поземка тут же сгоняла в заветренные места, оставляя степь голой и чистой, безмолвно пустой. Подмороженная за ночь дернина похрустывала под колесами «уазика», точно сухой ягельник тундры.

— Наша степь, пожалуй, будет еще поранимей тундры,— ответил на это мой попутчик, заведующий отделом сельского хозяйства Ольхонского райкома партии Николай Григорьевич Мончик.— У ольхонской степи два врага — овцы да машины.

— Но от овец-то какой вред?

— О! Это наша главная беда. Точнее, беда и выручка. С одной стороны, овцеводство — основа районной экономики, а с другой — поголовье так разрослось, что овцы скоро сами начнут друг друга есть, — пошутил Мончик.

Шутка появилась невеселой и какой-то укороченной, обрубленной на полуслове. Чувствовалось, что брошена она, что называется, для затравки перед большим и серьезным разговором. Так оно и получилось.

— Несколько лет назад в степях наших случилась большая беда,— говорил Мончик.— Лето выдалось тогда сухое, жаркое, как никогда. А поголовье к тому времени достигло своего апогея за всю историю развития овцеводства в этих краях. 62 тысячи голов составляла тогда районная отара. Это только основного поголовья. Если подходить с научной точки зрения, то скученность животных была завышена в два с лишним раза, а если брать в расчет всяческие экологические охранные нормы, то и того больше. Вот тогда-то и поистощились пастбища, голодные овцы буквально выгрызали все до земли, острыми копытами выбивая траву с корнем. Тогда от бескормицы пало почти 12 тысяч овец. Как говорится, ни за понюшку табаку пропали — от бесхозяйственности.

— Это что же получается, с оглядкой на авось хозяйствовали? Ведь сознательно шли на завышение, и этого надо было ожидать.

— Еще в 1960 году в районе по специальному приглашению работала северокавказская землеустроительная экспедиция. И еще в то время было рекомендовано держать на острове Ольхон не более 3—3,5 тысячи овец. А мы сегодня имеем более восьми тысяч, завышение почти в два с лишним раза. Во многих местах на пастбищах произошли уже необратимые процессы — там вовсю наступает пустыня, самые настоящие барханы — это у нас-то, в Сибири. Сейчас с созданием вокруг Байкала национального парка раздаются голоса вообще убрать овец с острова. Тоже, считаю, крайность, почему-то мы не можем без крайностей прожить. Ольхонская степь — это ведь именно та природная стихия, где только овец и можно разводить...

Вековечная, никогда не знавшая сохи или плуга степь. Точно вырвал кто этот клочок земли в несколько десятков тысяч гектаров у дикого монгольского поля и бросил сюда, в эти скалистые кручи, чтобы разместить здесь чабанские отары. У землепашца вид этой скудной земли вызывает уныние, для кочевника-арата нет краше этих скалистых трущоб.

Говорят: где родился, там и пригодился.

Что может быть родней и краше земли родной! У всех народов среди прочих природных стихий исполнена особой святости и почитаема мать сыра земля. Щепоть родной земли увязывали в тряпицу и брали с собой, коль сулила судьба долгое расставание. Землей клялись, ее носили в ладанке на груди и считали, что она навсегда спасет от всяких приворотных напастей, прилипчивых хворостей, от дурного взгляда, от сглазу. Эта могучая вера в силу родной земли хранилась и вынашивалась в русском народе многие века.

Еще дальше поклонение земле пошло у бурят. Их степи не знали долгое время земледелия вовсе не потому, что кто-то в ту далекую пору не додумался изобрести сохи или плуга. Орудия обработки земли могли быть заимствованы и у других народов. Просто земля была обожествлена в воображении бурят, считалась живой, ее нельзя было тревожить плугом или мотыгой и вообще копать или рыхлить. Оттого буряты и монголы никогда не сажали деревьев, более того, даже обувь носили с загнутыми вверх носками, чтобы, боже упаси, не потревожить земной покой.

Сегодня от былого не осталось даже слабых отголосков, во всем этом мы склонны видеть одно дикое суеверие предков. И у них, конечно, не все было гладко и впору.

«Будь обитатели котловин более хозяйственны,— писал об ольхонских бурятах В. А. Обручев,— они могли бы возместить животноводством недостающую рыбу. Но в силу ли непонимания или косности или и з ч и с т е й ш е й л ю б в и (разрядка моя.— **Г. Р.**)— я не смог этого выяснить — они великодушно предоставили п р е к р а с н е й ш и е луга безрассудной скотине.

А милая скотинка «без дум, «спасибо» не сказав, жрет без остатка стебли трав».

Да она уничтожает прекраснейшую, великолепнейшую луговую траву всюду, где только имеются луга, и когда там все до последнего строптивого кустика очищено, ощипано и вырвано, спокойно отправляется в тайгу с той же «благородной» целью. И так до конца короткого лета. Зимой же начинается нужда для человека и скотины. Благодаря тому, что беспечный бурят все же имел несколько рассудительности, что предохранил оградой крохотный кусочек луга от жадных зубов своих любимцев, скотина не совсем подыхает, но и человек и животные доходят до того малоприятного состояния, про которое говорится: быть между жизнью и смертью».

Сегодня эпитеты «прекраснейшая» и «великолепнейшая» вряд ли приемлемы для ольхонских степей как естественных пастбищ, и хорошей луговой травы сегодня сыскать не так уж и легко. И уж коль то благословенное время, когда неиспорченный цивилизацией человек был, как никогда, близок к природе, боготворил ее, а потому никогда не делал что-либо противного ей, описано в довольно резких штрихах, то что можно сказать о теперешнем положении вещей. И как бы там плохо ни хозяйствовал наш предок, все же он предохранил оградой «крохотный кусочек для своих любимцев», оставлял так называемые утуги, к которым только думают по-настоящему возвращаться сейчас.

Потребности наши возросли, искатали машинами вдоль и поперек ольхонскую степь, Тажераны, Агинскую долину, выловили в Байкале омуля, извели сига и осетра, вырубили в охруге лес, построили леспромхозы, предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, оснастили высокопрочным кордом стратегическую авиацию, а вот труд чабана мало в чем изменился со времен великого Темучина.

Все так же на коне, а больше пешком водит чабан по долинам и холмам свою отару с верными помощниками и чуткими стражами — собаками. Они подскочили к нам со злобным лаем, когда мы подъехали к одной из отар и долго не выпускали из машины, пока не вышел хозяин и не отогнал их сердитым окриком. Это был еще не старый бурят в черной, поношенной каракулевой шапке-ушанке, кирзовых сапогах, ватной телогрейке, обросший длинной редкой щетиной, крепкого сложения и сердитый на вид.

— Принимай гостей, Сергей Силкович,— обратился к чабану Мончик.

— Сайнбайна. Гостям всегда рады,— с заметным акцентом отозвался чабан.

— Вот корреспондент интересуется,— хитро подмигнул Мончик,— как это ты, Сергей Силкович, сумел так обхитрить всех чабанов?

Слово, поди, какое заветное знаешь? Как ты сумел настричь больше всех шерсти?

— О, наши секреты не каждому дано знать,— скупо улыбнулся на шутку чабан.— Проходите. Пц-х,— цыкнул он на вновь озлобившихся псов.

В овальном загоне кучно сгрудились у кормушек овцы, поглядывая в нашу сторону, молчали — верный признак того, что сыты. Под ногами у нас лежала толстая сухая и теплая «подушка» из овечьего помета, знать, стоянка эта давняя, много лет служащая. Она расположилась с краю неширокой речной долины, которая рассекалась заросшей редкими зарослями тальника и укрытой льдом речушкой Ангой.

— Это лучший чабан в области,— шепнул мне Мончик.— Но время сейчас ответственное — массовый окот, а Азарганов — человек старой закалки и не любит, когда на отаре посторонние люди. Оттого и сердит маленько.— И громко чабану.— Ты уж извини, Сергей Силкович, мы к тебе ненадолго.

Отара у Азарганова не большая и не маленькая по чабанским меркам —500 голов основного поголовья.

— Все бы хорошо,— бьет себя по бедрам бурят ладонями,— да уж болна мало корма, болна мало.

Всего 300 граммов достается каждой овце в день комбикормов, а надо как минимум в три-четыре раза больше, не считая естественных трав. Это необходимо, чтобы шерсть была густой и длинной, чтобы молодняк рождался крепкий и сильный, чтобы падежа было меньше и т. д. Но ладно бы хоть пастбища были сносными, все как-то можно было бы покрыть нехватку комбинированных кормов. Но естественные выпасы истощены, скученность на них огромная, вот уж действительно это состояние животных можно охарактеризовать как существование между жизнью и смертью.

Чтобы хоть как-то поправить дело, помочь скотине, приходится Азарганову совершать долгие походы за десятки километров на отару, где жируют овцы, набираются сил до первых морозов.

— Иначе совсем худо,— вздыхает Азарганов.— Если овца уйдет в зиму жирный, то она все равно худо-бедно растет, холода не боится, по всем горам ходит и шерсть растет. А если худая она с лета, с осени, то на улицу выйдет, скорчится и куда ветер гонит, туда она и идет. Шибко худо тогда.

А мог бы и не гонять Азарганов овец так далеко, а свалил бы все грехи — и свои и чужие — на бескормицу и был бы прав. Да жилка хозяйская, традиция чабанская заставляют собираться в дальний путь. Там, в глубокой балке, защищенной от ветров грядой сопок, стоит небольшое рубленое зимовье, загоны да легкие кошары — навесы для животных, где можно укрыться от непогоды. Безлюдье. Редко кто наведывается сюда зимой. Разве добросовестный и хозяйственный сосед-чабан забежит вечером на чай, и то если отары рядом находятся, или из руководства хозяйством кто наведается, делая глубокий рейд по отгонным пастбищам.

В этом-то и заключается основная трудность чабанской жизни — в оторванности от людей.

На многих стоянках побывал я, и везде остро стояла одна главная проблема — нехватка кормов. А может, надуманная она, может, это отголосок застойного времени — валить все на объективные причины, якобы они мешают развернуться, их сначала надо решить. Ведь может, к примеру, Азарганов получать при тех же кормах по 3,5 килограмма шерсти от каждой овцы, а в других бригадах и 1,5 не получается, и при этом еще падеж там достигал в начале 80-х годов 14% от оборота стада. А вот у Азарганова ни одной овцы не пало. Парадоксы? Закономерность? Или что-то другое?.. Но прежде коснемся кормовой проблемы.

* * *

Из трех основных «источников» питается район, когда решает свою кормовую проблему. Первый — это пашенное земледелие. Второй — естественные сенокосы и пастбища. И третий — поступления из госресурсов. Все эти источники не равноценны, но начнем по порядку — с пашенного земледелия.

— Вы знаете, что сегодня представляет из себя наша пашня?— первый секретарь Ольхонского райкома партии Владимир Никитич

Дружинин устало проводит по лицу рукой. Он только под утро вернулся с дальних стоянок.— Это всего 6960 гектаров. Это по всему району! По-хорошему, в крепком хозяйстве, это пашня одного отделения или бригады. Но даже этих семи тысяч гектаров у нас практически нет. Расклад вот какой. Во-первых, 800 гектаров - это земли эродированные, каменистые, причем расположены они на крутых склонах. Другая пашня — это та, которой пользовались колхозы и совхозы в 50-х годах, когда земля в районе обрабатывалась в основном на лошадях. Это клочки от 10 соток до одного гектара, которые, как пашня, постепенно выродились и забросились. Но они числятся, на них доводится план.

Такие поля и огородцы я видел в деревеньке Мухур-Булыг. И вот какую особенность я подметил: если в основных районах Сибири пашню отвоевали у леса, то здесь ее тяжким трудом освобождали от камня, сносили большие и маленькие валуны в огромные кучи. И так каждую весну и лето. Видел я эти рукотворные каменные пирамидки, которые, возможно, станут загадкой для археолога через несколько сотен лет. Наверное, и он удивится так же, как я, тому, что до чего же живуча в человеке тяга к земле. И все же как ни старайся, как ни удобряй эти «каменные трущобы», толк выходит небольшой. Да здесь, собственно, никогда большим земледелием никто не занимался: ни плодородием, ни хорошей структурой эти земли не отличаются. В основном здесь держали скот на нагуле. И только кое-где отдавало русское население этих мест дань огородничеству. Но теперь другие условия: техника современная, удобрения, гербициды, может, и хозяйствовать на земле можно получше?

Вот пример. В прошедшую пятилетку в самом большом овцеводческом совхозе «Еланцинский» получили в среднем чуть больше восьми центнеров зерна на круг. До сих пор район не может обеспечить себя даже собственными семенами. Исследования института Гипрозем показывают, что Ольхонский — единственный район области, который имеет отрицательную дифференциацию отдачи пашни. Каждый вложенный в развитие полеводства рубль окупается лишь на 86 копеек. Даже в таком районе, как Нижнеилимский, где пашня создана вся на новом месте после ангарского затопления, все же положение дел намного лучше, там берут в иные годы зерна в два раза больше, чем в Еланцах.

Объективно ольхонская пашня не может обеспечить хозяйства района кормами собственного производства. А это сразу сказывается на удорожании всей экономики. Особенно это ощущается сейчас, в условиях экономической реформы, когда хозяйства готовятся перейти на полный хозяйственный расчет.

— Лучший по погодным условиям год дал нам собственных кормов только на 48 процентов к потребностям,— загорается Дружинин.— Вы представляете?! Даже до половины не дотянули. Мы ежегодно завозим в район 1300 тонн зерна только на семена, причем семена эти плохие, не районированные. И все же, по моему глубокому убеждению, земледелием в районе заниматься просто необходимо. Кстати, уже кой-какие результаты есть: два последних года мы худо-бедно, хоть и не полностью, но засыпаем свои семена.

В районе создана и действует научно обоснованная система земледелия, над которой работал институт Гипрозем в 1985—1986 годах. Но требования к защите экологии вокруг Байкала с каждым годом становятся все жестче. В общем-то, в районе есть возможность постепенно наращивать урожайность зерновых культур, но опять же на основе применения минеральных удобрений. Но если исходить из того, что диктует сегодня экологическая наука, растениеводство большой эффективности не даст.

Есть еще один выход — применить органику, но ее мало в районе, а пашня, или как назвал ее первый секретарь — каменистые субстраты,— просто ненасытна и примет сколько угодно навоза или перегноя. Где же их взять? Тупик?

Внимательно всматриваюсь в срез ольхонской степи: весь слой от нижних до верхних горизонтов чуть потолще штыка лопаты, а дальше идет скальник. Сколько же тысяч лет умещено в этом двадцати-тридцатисантиметровом слое? Из чего он складывается? Ага, вот прожилка потемней, значит, год или несколько лет подряд был хороший травостой, влаги

хватало, а может, просто потому, что лощинка здесь была, место посырее. Или долгие сотни лет по пылинке скапливалась эта прожилка плодородного гумуса, по песчинке приносил ветер в заветренную долинку. А может, древний арат строил здесь запруду из навоза, чтобы отвести воду от источника и пустить ее на луга?

Верхний слой, называемый гумусом, туго спрессован. Удивительно, как эта земля может вообще родить. Сушь кругом и даже ветер, хоть и с моря, но сухой, степной. И кажется каждая травинка и былинка тянет жалобно: «Пить, пи-ить». У воды, составляющей 20% пресных запасов, и без воды. И трудно постичь разумом, что это — чудо природы или ее ошибка?

Мы перенесли общую схему ведения сельскохозяйственного производства на уникальную почву. Правильно ли это? Великий русский ученый-почвовед, внесший неоценимый вклад в изучение русских черноземов, В. В. Докучаев писал, что «если желают поставить русское сельское хозяйство на твердые ноги, на торный путь и лишить его характера биржевой игры; — если желают, чтобы оно было приноровлено к местным физико-географическим (равно как и историческим и экономическим) условиям страны и на них бы зиждилось (а без этого оно навсегда останется биржевой игрой, хотя бы годами и очень выгодной), безусловно, необходимо, чтобы эти условия — все естественные факторы (почва, климат с водой и организмы) были исследованы, по возможности, всесторонне и непременно во взаимной их связи».

Основной упор мы делаем сегодня на минеральные удобрения. Но уже общеизвестно и подтверждено многолетней практикой, что одни минеральные удобрения без гумуса — этого, просто необходимого вещества, без которого немыслима жизнедеятельность растений,— малоэффективны для урожая.

А если и есть какой-то эффект — то он временный. Дальнейшее использование туков приведет не к росту урожайности, а к чрезмерному засолению почв, и нынче в Сибири это явление очень даже распространенное.

По-прежнему основное орудие обработки почвы в районе — это плуг. Применять почвозащитную систему в комплексе, какой она и должна быть, невозможно. Скальные породы залегают так близко к поверхности, что проводить глубокую вспашку просто нельзя. И обычная-то сельхозтехника быстро выходит из строя — отваливаются лемеха, предплужники, зубья у борон. Но самая большая беда при такой обработке то, что и без того бедный гумусный слой перемешивается с остальной песчаной массой и практически растворяется в ней почти бесследно.

Одной из важных причин, которую необходимо учитывать, чтобы поставить сельское хозяйство России на твердые ноги, В. В. Докучаев назвал причину историческую. Не нами говорено и не нами отменится, что двигаться вперед мы сможем только тогда, когда основательно изучим весь многовековой опыт предшествующих поколений, хотя бы по одной простой причине, чтобы не убеждаться лишний раз в том, что земля круглая. А ведь мы это делаем чуть ли не на каждом шагу. Мы как открытие подаем, что два года подряд, оказывается, пшеницу на одном месте сеять нельзя. А народ сказал несколько веков назад: хлеб по хлебу сеять — не молотить, не веять. Наконец-то, только в последние годы мы всерьез заговорили о парах, что это наиболее эффективное средство освобождения пашни от сорняков, а лучшего предшественника для любой культуры нет и быть не может.

Мы привыкли восхищаться и раболепствовать перед тем, как хозяйствуют американские фермеры (нередко, кстати, выходцы из России). Это же надо — 5% сельского населения кормят такую огромную страну, да еще и за рубеж продают. И журналы и газеты переполнены экономическими расчетами, где, что и какую выгоду это принесет, как нам перенять ту или иную технологию и т. д. И никто не обмолвится даже словом о том, что думает, говорит или нашептывает фермер, когда остается один на один с землей, какую молитву творит? Нет, не тот фермер, который кладет в карман только выручку, а тот, кто за плугом идет, от зари до зари не разгибая спину.

В Югославии праздник урожая — это общенациональное ликование, это гимн человеческому труду, это буйство человеческих чувств, красок, традиций. Участвуют в нем

все — от мала до велика. На это не жалеют никаких денег, потому что знают: окупится все сторицей. Да и разве дело в одной только экономической выгоде? А что же простые человеческие чувства, их искреннее излияние — это уже второсортная продукция? Как видим, Запад так не считает.

Неужели никогда не хватит нам нашей образованности, души и, наконец, простого здравого смысла, чтобы понять и по достоинству оценить те нравственные устои, тот опыт, который терпеливо собирали по крупицам для нас наши предки?

Мы же пока уповаем только на науку, мы делаем ее самодовлеющим органом, не подвластным никакой критике, способным избавить нас от всех наших бед, а она в своем самодовольстве совершенно игнорирует вековое знание народа.

Ведь на тех бедах, хоторые произошли в Ольхонской степи, во многом сказались наши крупные административно-хозяйственные промашки, между прочим имеющие научную прокладку, но, как видим, не давшую почти никаких результатов.

А что же второй источник кормов — естественные пастбища Ольхона?

Десятки тысяч гектаров изжаждавшейся степи с конца мая не получили ни дождинки. Сейчас август, бархатный сезон для этих мест — парным молоком налиты, прогретые до самого дна байкальские соры, потеплел ветер с моря, земля тепла. Высоко и прозрачно голубое небо, лишь кое-где в редких штришках перистых облаков. Солнце слепит глаза. Благодать! Для заезжего. А у главного зоотехника совхоза «Ольхонский» Александра Степановича Шеметова тревога на лице.

— Разве это травостой,— с горечью говорит он.— Как раньше говорили: от колоска до колоска не слышно и голоска. Третий месяц печет, разве тут может что-то вырасти на этих песках, да еще при таком пекле?

К косовице трав в хозяйстве еще по-настоящему не приступили. Степь кажется серопепельной от зноя, низкорослый травостой едва прикрывает песчаную дернину. В иных местах к кошаре уже вплотную подступил песок.

Из открытой двери кошары доносится стрекот машинок и блеянье овец. Стрижка нынче затянулась до августа. И, конечно, из-за бездождья шерсть идет очень сухая, и стригалям тяжело работать—тупятся ножи, греются электрические машинки, стрижка идет с частыми остановками. Шерсть тоже оставляет желать лучшего: овцы недобрали достаточного количества жиропота — и руно легкое.

— А где им было нагуливать жир-то?— жестом руки Шеметов обвел окрестные места.

Вокруг деревеньки Харанцы, что под Хужиром, уже почти не осталось более-менее сносных пастбищ. Общественное поголовье, плюс личный скот вытаптывают угодья до песка.

В этот год содержалось на острове вместе с ягнятами зимнего скота без малого 12 тысяч овец. Если брать в расчет рекомендации северокавказской землеустроительной экспедиции, о которой уже упоминалось, то нормы были завышены в два с лишним раза. Год шел 1987-й. Зимовку чабаны пережили с 50%-ным запасом кормов. Пало много молодняка.

Количество сельхозугодий в хозяйстве в общем-то немалое — 21 тысяча гектаров. Такую цифру назвал мне директор совхоза «Ольхонский» Борис Прокопьевич Урбаханов.

— Но что это за угодья? — начал он, загибая пальцы на руке.— Скалы, лесные опушки, склоны сопок — и это большая часть наших сельхозугодий. Вы представляете, какая бывает скученность животных на более-менее равнинных пастбищах? Овцы выбивают траву с корнем до самого песка. Ну ладно бы одни овцы, а то ведь сколько пастбищ приводят в негодность автонабеги горожан. Они ведь в горы не лезут, а все больше по низине раскатывают. Местность ровная, гладкая, можно без дорог проехать в любом направлении. И ездят. Вы видели, как исколесили степь, места живого не найдешь. А много ли ей надо, степи-то нашей,— один раз проехал — два года зарастает.

Тревога эта серьезна. Тысячи туристов на личных машинах едут сюда, как выразился один из них, за духовными приобретениями. А приносят, как видим, один ущерб, материальный.

«В технической литературе уже появился термин «машинная деградация почвы», сокращенно МДП,— пишет в своем очерке «Железные всходы» писатель-публицист Анатолий Иващенко.— Так наречен комплекс вредных

последствий массированного воздействия на нее ходовых систем и рабочих органов почвообрабатывающих орудий. Сюда входят переуплотнение и истребление почвенных микроорганизмов, нарушение структуры, снос перемолотой водой и ветром земли. Только из-за переуплотнения... урожай зерновых снижается на 20%, бесполезно расходуются до 40% минеральных удобрений и 18% горючего».

Здесь же приводятся такие, к примеру, факты: в Благовещенском сельхозинституте подсчитали, что один трактор Т-150К из-за переуплотнения полей наносит годовой убыток почти в 30 тысяч рублей.

Замечу, что подобные издержки мы несем в зонах развитого земледелия, где почвы имеют хорошую структуру. Что же тогда происходит с ольхонскими степями, которые в несколько раз ранимее? К сожалению, подобными исследованиями пока заниматься науке недосуг. И ольхонскую пашню обрабатывают те же «Кировцы» весом в 12 тонн, «бороздят» непаханую степь, вывозя с лугов кошенину, и колея потом не зарастает по нескольку лет. И поневоле задумаешься над тем, что же несет в себе древняя аратская традиция в отношении к земле: слепое суеверие или нравственный прогресс?

Листаю старые передачи, которые подготовил за несколько лет работы на областном радио по проблемам ольхонской степи. Вот одна из последних бесед с Урбахановым.

— Нынче мы думаем,— говорит директор,— расширить наше утужное хозяйство и применить кое-где лиманное орошение.

Если быть точным, это «кое-где» исчисляется 30—40 гектарами. Много это или мало? Давайте произведем простой подсчет: даже если каждый гектар даст по 20 центнеров сена — урожай, прямо скажем, высокий для этих мест,— то полученного сена едва ли хватит прохормить одну хорошую отару овец. А на острове еще имеется 600 голов крупного рогатого скота.

Я не знаю, сколько гектаров орошалось подобным способом примерно тысячу лет назад, но на снимках, сделанных из космоса, ясно просматриваются сети оросительных каналов по всему Ольхону. Построили их древние курыкани — далекие предки нынешних бурят. Около их городищ сохранились остатки пашен. Курыканы применяли искусственное орошение для полива полей и сенокосов.

Древний способ очень прост и удобен. При малом количестве атмосферных осадков разветвленная сеть каналов позволяла отводить воду от ручьев и других родниковых источников. За зиму здесь намерзали огромные наледи. Потом каналы перегораживались запрудами из навоза, и по весне при таянии снегов и льда земля сразу получала и влагу и органические удобрения. Нет, не случайно В. В. Докучаев увидел ольхонскую луговую траву прекраснейшей и великолепнейшей.

Хоть и разнятся по плодородию донские и ольхонские степи, но в способах хозяйствования на них, оказывается, есть много общего. И мне кажется, многие докучаевские мысли могли послужить поводом для раздумий современных ученых-аграрников. «При лиманном орошении он делает упор именно на родники и малые ручьи и речки»,— комментирует мысли В. В. Докучаева советский русский исследователь Фаттей Шипунов.

Кстати, подобным способом пользовались на Ольхоне вплоть до 70-х годов нашего столетия.

— А сейчас мастеров таких нет,— разводит руками Урбаханов.— Деды нам своего опыта не передали, а из нас никто не интересовался — вот так все и ушло.

— Что же вы считаете, этот способ утерян навсегда?

— Возрождать надо обязательно, но возрождать умело, иначе таких дров наломаешь. Ведь использование родников неопытными людьми может привести к тому, что исчезнут вовсе. Да и сколько их уже исчезло, и причем безвозвратно, в последнее время? Вот мы хотим пока провести первый опыт в Семисоснах, там есть хороший, знающий луговод Александр Акдонов, и он взялся это дело подготовить и восстановить. Мы с охотой пошли на это. Ведь что такое лиманный способ орошения? Это самый экономичный и экологически чистый метод полива, а эффективность почти та же, что и при современных методах искусственного орошения.

Обидно, очень обидно, когда мы из-за непонятной гордыни или высокомерного презрения, напрочь отметая старое, веками проверен-

ное, теряем силы, нравственные критерии, впустую тратим средства. Древняя евангельская заповедь гласит: смирись, гордый человек! Ведь сколько ошибок могли мы не совершить, сколько искривлений не допустить, если бы уважительно относились к завещанному отцами.

Вот ведь, оказывается, существует какая закономерность: если люди не следят за источником, не обращают на него своих внимания и заботы, он, точно чувствуя это,— исчезает! Точно какие-то биотоки природы передали ему — ты стал ненужен, люди отвернулись от тебя, стали чужими. У них теперь другие песни, другие склады, они теперь не ждут милостей от природы, они вступили с ней в смертельную схватку, берегись. Кабы это осталось только складным словцом. О результатах нашего хозяйствования говорят факты: 100 лет казад (такую цифру мне привел в разговоре секретарь райкома) на Ольхоне было восемь полноводных источников. Сейчас не осталось ни одного!

Даже в лучшие годы, при большой воде, в районе более трех тысяч гектаров не поливали. Но тут существует и еще одна проблема: обычно лиманное орошение проводилось там, где были огорожеы определенные участки сенокосов, так называемые утуги. С этих участков, как правило, брали добрый укос сена, а то и два, а осенью на отаву выгоняли пастись овец, чтобы в зимовку они вошли жирными, упитанными. Я бы сказал так: была разработана разумная культура землепользования, предохраняющая луга от вытаптывания скотом и дающая возможность распределять пастбищную нагрузку. Не корысти ради применяли подобный способ хозяйствования, а руководствовались здравым смыслом. Природа использовалась экологически продуманно и экономически целесообразно.

Нынче же утужное хозяйство совхоза «Ольхонский» вкруговую насчитывает всего лишь 95 гектаров.

Вообще, если брать в расчет одну голую экономику, то сельскохозяйственная отрасль Ольхонского района должна быть самой рентабельной. Но посудите сами: скот круглый год на нагуле, на естественных травах, которые выращивает природа, и они требуют лишь минимальных затрат, следовательно, себестоимость кормов должна быть очень низкая. Но получается парадокс. Сегодня себестоимость одного центнера ольхонской шерсти самая высокая в области и составляет 1203 рубля!

Буквально три-четыре года назад все хозяйства района были планово-убыточными. Долгие годы с района требовали только: «давай, давай», вовсю применялись экстенсивные методы производства. Именно по этой причине в засушливые 70-е годы поголовье вместе с ягнятами достигло 90 тысяч голов. Именно тогда надсадили естественные выпасы. Еше два года назад Владимир Никитич Дружинин называл мне такую цифру: около 70% пастбищ были полностью непригодны для выпасов.

Сильно сказалось на себестоимости продукции и чрезмерное увлечение искусственным поливом, точнее строительством сооружений для такого орошения. Есть в Усть-Ордынском бурятском автономном округе передвижная механизированная колонна № 3, которая занимается в Ольхонском районе проведением мелиоративных работ. Так вот за 11-ю пятилетку план по коренному улучшению лугов был выполнен колонной всего лишь на 13,7% и в оборот введено только 245 гектаров естественных пастбищ. Остальные средства завязали на незавершенных объектах оросительных систем.

И вот наконец-то после долгих проволочек сдана такая система на острове Ольхон. Площадь орошения — 139 гектаров. Но давайте посмотрим, что это за система с точки зрения экономики. Если раньше дизельные насосы стояли на плаву прямо около байкальских берегов, то теперь в связи с ужесточением требований к экологической обстановке насосы отнесли от прибрежной полосы и они создают напор на втором подъеме. На первом же приходится использовать электрические насосы, что, естественно, вызывает значительное удорожание всей системы полива, а оно, в свою очередь, естественно, сказывается на себестоимости кормов.

Здесь, мне кажется, пришел черед сказать и о третьем источнике пополнения кормовой базы — о поступлениях из госресурсов. Для прокорма овцепоголовья району необходимо ежегодно получать из централизованных фондов не менее 3,5 тысяч, а с учетом крупно-

рогатого поголовья — 5 тысяч тонн концентрированных кормов. И хотя этого количества в районе почти никогда не бывает, все же даром эти центнеры не приходят, они обходятся в копеечку. Вот куда уходят все те мизерные доходы хозяйств, которые могли бы быть пущены на строительство жилья, улучшение социальных условий для жителей района.

А что же человек на Ольхоне? Как сказываются подобные методы хозяйствования на его нравственном здоровье, семейном достатке, отношении к делу?

— Что там скрывать,— разводит руками Дружинин.— Пьянство сильно делу вредило. Сейчас для меня это уже совершенно очевидно. Я внимательно проанализировал ситуацию, которая сложилась сразу после введения указа по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Итоги меня просто ошеломили. Меньше чем за год после введения указа падеж овец в чабанских отарах сократился в полтора раза, в самом крупном овцеводческом совхозе «Еланцинском» выход шерсти увеличился на 160 граммов, совхоз впервые за многие годы выполнил план по продаже шерсти государству.

— А вы не задумывались над глубинными причинами, где истоки вот такой «пьяной» экономики?

— Во-первых, это легкодоступность алкоголя. Ведь и вино и водку привозили раньше наши автолавки прямо на чабанские отары. И закупали питие там ящиками. Какая уж тут могла быть целенаправленная племенная работа или организация труда. В иных отарах во время окота пропадала почти половина молодняка. И все же главная причина не в этом. Здесь, пожалуй, сыграли свою далеко не положительную роль наши многолетние способы хозяйствования — обезличивание человеческого труда. Пьянство ведь не рождается само по себе на голом месте, оно имеет свои социально-экономические корни. Например, когда теряется чувство хозяина своей земли...

Но когда же оно теряется, это чувство? Вот так взяло и пропало после первой выпитой рюмки? Первопричиной-то, мне кажется, является то, что начинают слабеть связи между прошлым и настоящим, нивелируется такое понятие, как любовь к родным местам, труду, которым занимались предки, забываются отцовские заповеди и навыки. Я глубоко убежден, что такой чабан, как Сергей Силкович Азарганов, руководствуется в своей повседневной жизни как раз ими. Не чужды они и молодому овцеводу Николаю Батюховичу Николаеву.

Еще мальчишкой водил он здесь с отцом отары по крутым сопкам, осваивая нелегкий труд чабана. А потом и его закружили да завертели модные среди современной молодежи романтические и зачастую призрачные поиски своего места в жизни. Уехал в Улан-Удэ, учился в институте, работал в милиции, уже семьей обзавелся. Здесь и застала его весть о смерти отца. Снялись молодые и приехали к больной матери. «Отару совсем водить некому»,— писала она. Вновь взял в руки Николай чабанский посох — дело знакомое. Думал все, что временно, да вот оказалось, что уж надолго. Теперь семья большая — четверо детей, дело нешуточное. Да и не для кочевой неприкаянной жизни обзаводился Николай семьей, а чтобы продолжить дело, начатое на этой земле его предками. Так он об этом прямо и сказал.

— А не скучно вот так жить на отаре вдали от людей?— спросил я Николая.

— Да нет,— ответил он.— Условия хорошие. Дом вот нынче построил совхоз, теплый, просторный.

— Но ведь дети подрастут, учиться их надо отправлять, тосковать будете.

— Будем, конечно. А что поделаешь? Мы ведь тоже так воспитывались. Встречи будут радостней. Да и не так уж тут далеко до райцентра. А ребята будут на полном государственном обеспечении.

Как они радуют, как заражают оптимизмом подобные встречи. Постоянство, целеустремленность, тяга к жизни всегда рождают творческий созидательный труд. А именно он сегодня ох как нужен ольхонской степи. Ей в первую очередь, потому что второй такой не найдешь на всем белом свете. А она сегодня в опасности. Уже на грани уничтожения многие виды трав, того же чабреца, наступают пески, вырождаются пастбища. Всему этому нужен хозяин, не супос-

тат-истребитель, а радетель, хранитель и оберегатель.

Обезличенный производственный процесс зашел так далеко, что стали рваться глубинные связи человека с землей, с традициями своего народа. Как-то в селе Харанцы на стрижке овец мое внимание привлек бурятский парнишка, шустрый и смышленый. Он удивительно бойко и чисто говорил по-русски, что бывает редко, если воспитание ведется в среде своего народа. «Но не бывает же правил без исключений»,— подумал я и все же не удержался, спросил парнишку, а знает ли он по-бурятски? Спросил просто так, почти уверенный, что ответ будет положительным. Но каково же было мое удивление, когда тот ответил:

— Нет.

А ведь основное население Ольхона — буряты, это их исконная земля, среда обитания. Все-таки подобные примеры должны, по-моему, настораживать. Ведь не сам парнишка позабыл выучить родной язык, этому способствовали, конечно, и экономические условия — нехватка школ, преподавателей бурятского языка, но виноваты тут и родители, взрослые, выходит, им тоже было безразлично, на каком языке скажет ребенок первое слово. Так цепочка и потянулась...

А будь крепки связи, уверен, подобного бы не произошло. И хотя сделать это нелегко, возвращать человека земле надо, продовольственная проблема примет затяжные, хронические формы.

Надо думать о том, чтобы каждый чабан не только получал высокие результаты при выращивании овец, но чтобы так же, как и тысячу лет назад, заботился бережно и рачительно о своих лугах, выпасах и сенокосах. Чтобы он сам, без принуждений и напоминаний стал бороться с автонабегами горожан, с их варварским отношением к природе. Чтобы он так же, как и его предки, огораживал участки с травой — занимался утужным луговодством, строил лиманные запруды и пускал влагу на луга. Но, чтобы делал он это все добросовестно и добровольно, надо вернуть ему главное — землю. Вернуть — и вся недолга.

Но вот уже слышатся голоса скептиков — как вернуть? А он ее не возьмет, и пошли-полетели аргументы, такого наговорят, столько выскажут «про» и «контра», что сами запутаются, но это еще полбеды — других запутают. А проблема-то и выеденного яйца не стоит: надо просто отдать землю тому, кто ее возделывает. Возьмет не возьмет — это уж его заботы, хотя я лично не сомневаюсь — возьмет.

Но что же получается на деле? Казалось бы, средства массовой информации напрочь развенчали обезличенный подход в экономическом планировании. Все зовут повернуться лицом к человеку, к его запросам, нуждам, пожеланиям и требованиям. Но мне кажется, пока в отношении Ольхона это правило, мягко говоря, не действует.

Как же будет дальше развиваться здесь сельскохозяйственное производство? Есть ли для овцеводства какие-то альтернативные варианты? И наконец, человек на Байкале: что ему-то нужно?

— К сожалению, все приезжающие в район экспедиции с местными властями контактируют слабо,— говорит Дружинин.— В лучшем случае выслушают нас, а порой даже и не заходят. А ведь хотелось, чтобы больше учитывалась именно сегодняшняя ситуация, реальность наших дней, интересы местного населения и особенно коренных жителей нашего региона. Ну посмотрите сами, здесь традиционно, сотнями лет, люди держались дарами Байкала, жили природой, которая окружала озеро, зверем, дичью, что водятся в лесах, а главное, рыбой. Ведь основным источником существования, вплоть до печально известных 60-х годов, был рыбный промысел. В одночасье лишившись всего этого, район и людей потерял, но, самое страшное, изменилось отношение к природе. Потому что наряду с положительными явлениями реорганизации экономики появилось много и негативного, я имею в виду прямое браконьерство. С ним мы покончили и то неокончательно в 1985 году, когда через народный суд прошли крупные дела по браконьерам-профессионалам. То есть, как видите, изменилась психология человека, им овладело безразличие, не стало хозяина. Ведь что вы думаете: уничтожение степей — это не браконьерство? Еще какое! Но одна причина вызвала другую. «Вы ко мне равнодушны,— думает житель Ольхона,—

и с меня не требуйте». Вот вам и перекос.

— Но какой же здесь выход?

— Надо разрешить пользоваться людям дарами Байкала. Ведь они живут здесь, а урезаны во всех правах: они не имеют права поставить сеть, поймать рыбу, а мы не имеем нарядов, чтобы реализовать омуля через торговлю. Вот и сидит он вроде и у рыбы и без рыбы. Пусть он имеет хоть какой-то приварок к столу, тогда и на основном производстве лучше будет трудиться, чувствуя о себе заботу, и браконьерничать меньше станет... Но это одна сторона проблемы. Другая — это возрождение старых промыслов: звероводства, нерповки. Как бы ни оттягивали время, все равно поголовье на острове, да и в целом по району сокращать надо. Значит, необходимо будет занять чем-то людей, найти им подходящую работу. Вот бы где приложить усилия науке..

Поха же ольхонцы хозяйствуют сами на свой страх и риск, выходят с различными предложениями в разные учреждения, спорят, убеждают, требуют. Часто их не слушают, не принимают их предложений, но все же дело с мертвой точки сдвинулось — поголовье на острове хоть на немного, но сокращено. А что же дальше? Ведь может возникнуть такая ситуация, что в результате планомерного сокращения овцепоголовья встанет вопрос о целесообразности производственной деятельности совхоза «Ольхонский». Он и сейчас часто едва сводит концы с концами, а тогда уж точно будет нести одни убытки, тем более, что есть рекомендации перевести овцеводческую отрасль на мясошерстное производство. Это сразу вызовет сокращение надбавок за шерсть, что сегодня является основной статьей дохода хозяйств, их экономики.

— И над этим вопросом мы думали,— говорит Дружинин.— Мы думаем, что в будущем можно слить совхоз «Ольхонский» вместе с рыбозаводом и создать на их базе что-то вроде агрофирмы. Кстати, это ведь традиционный метод хозяйствования на острове. Раньше рыболовецкие тоже занимались овцеводством, а межсезонье у них было занято рыбой, или, наоборот, в перерывах между рыбалками были массовые и сенокосные кампании, и охотные, и овец стригли. Люди были задействованы круглый год, а это немаловажно, когда у человека есть занятие, которое необходимо для его жизни, быта и общего настроения.

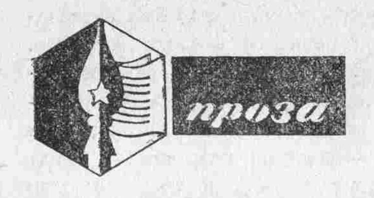
Казалось бы, все правильно, разумно, в духе времени, соответствуясь с принципами перестройки, но... Оказывается, хоть и находится рыбозавод на территории района, имеет своего директора, свой управленческий персонал, но не имеет главного — финансов. Все решается на уровне Министерства рыбного хозяйства, и даже прибылью, которая получается за счет конъюнктуры цен на байкальскую рыбу, распоряжается министерство. Остров как бы стал небольшой колонией для всемогущего ведомства. И колония не смеет роптать, строить свои планы, требовать. Разве может заботить и беспокоить далекое министерство, что большая скученность овец на острове вызывает необратимые процессы в степях, где вытаптывается растительность, образуются пустыни, что вызывает сильный дренаж почв, исчезновение водных источников. Министерство может волновать только одно — получение солидной прибыли. Ради нее оно согласно возить с Дальнего Востока минтай и заниматься его переработкой, когда исчерпаны все лимиты на байкальскую рыбу. Лишь бы мощности были загружены, лишь бы пришел скорее вожделенный час очередной омулевой путины. И потому вряд ли можно надеятся, что задумки районных властей могут в скором времени воплотиться в реальность. Но жизнь не стоит на месте, она настоятельно заявляет, что подобные методы варварского хозяйствования в ольхонских степях приводят к необратимым последствиям. В Бурятском филиале Сибирского отделения Академии наук СССР подсчитали, что в бассейне Байкала эродировано около 40% пахотных земель. Деградировали огромные массивы лугов и пастбищ. Бездумная распашка земель, особенно на крутосклонах, нерегулируемый выпас скота нанесли серьезный ущерб природе.

Проблемы, проблемы... Они обложили Ольхонский район со всех сторон. Как пробиться сквозь них, кого звать на помощь? Я представил себя на месте районных властей и почувствовал, что похож на загнанного в ловушку зверя, которому в безысходности ничего не остается, как броситься на окруживших его людей. Применять гербициды не смей, пастби-

ща береги, а поголовье сокращать не будем. Но план давай любой ценой. Как тут хозяйствовать? Ведь из материи, предназначенной на один кафтан, двух не сошьешь. Как же можно на кормах, едва способных насытить одну овцу, выкормить две? Задача для первоклассника.

А как решать ее, подсказывает время — демократическим путем, руководствуясь народным здравым смыслом. Он всегда был путеводной звездой при решении важных вопросов. Если житель района почувствует себя настоящим хозяином территории, то, убежден, урегулируется сам собой вопрос и с автонабегами горожан, и браконьерство исчезнет, и вода байкальская будет чистой, и степь ольхонская — эта живая частичка Байкала — начнет восстанавливать свое естественное плодородие.

Геннадий Герасимович Русских родился в п. Кордон Тайшетского района Иркутской области в 1955 году. Закончил Иркутский государственный университет. Работает старшим редактором в областном комитете по телевидению и радиовещанию. Очерки публиковались в альманахе «Сибирь».



Александр Семенов

БОБЫЛЬ

РАССКАЗ

1

Ночью штормило. К утру холодные волны устлали низкий берег свежим прозрачным песком, окаймили мелким разноцветным камнем, набросали поверх бурые комья тины и серые, хрупкие, похожие на старые птичьи кости обломки ветвей. Обновленная белая коса матово отсвечивала под полуденным солнцем, а над ней и синим слитком осеннего моря, над зелеными шатрами сосен и выше трепетало ослепительное сияние. Впереди в струящемся мареве качалась охваченная солнечным огнем скала, не в силах оторваться от земли. К ней медленно и устало брел сейчас Федор, загребая тяжелым кирзовым сапогом мокрый песок. Изредка с шумом накатывала резвая в пенном окоеме волна, шаловливым щенком тыкалась в ноги, обмирала и исчезала пугливо.

Трудно было идти Федору, но еще тяжелее — отмечать взглядом свой путь. Казалось, кто-то другой, неведомо как пробравшийся в него человек, видел все это чужими, не привыкшими к такой красоте, а потому еще зоркими и ласковыми очами. Глаза его устали вбирать яркий свет, веки отяжелели, смотрели на песок-камень, сбитые носки стоптанных кирзачей да иногда — на скалу, которой он придерживался, желая без лишней траты времени и сил выйти к дому.

Тишина нарушалась по обе руки: слева шелестели жесткими иглами колдуньи сосны, справа доносился из морской глыби зыбкий неуверенный голос, будто звал кого-то, да не мог дозваться. Те и другие звуки доходили до Федора слабо, отчего казалось ему, что там, где он шел, в белом и плотном воздухе был прорублен узкий прочный коридор. Обессилевшее за ночь море нежилось в солнечном свете, томясь предчувствием неродившегося шторма, плавно и томно изгибалась песчаная коса, бесшумно скользили по небу онемевшие чайки. Замечательно слаженный мир окружал Федора, но если бы даже кто-то и подсказал ему это, согласиться с этим утверждением он бы не смог. В смутном, неопределенном состоянии души и тела брел Федор по берегу, оставляя на чистом полотне песка глубокие следы.

Кровь молоточком стучала в голове, тупая боль тисками сдавливала виски, и он старался не окунать в нее усталые глаза, смотреть под ноги, на россыпи шелковистых каменных зерен, намытых темной ночью. Обвивала и холодила сердце тоска — Федор давно уже выучился загонять ее далеко в глубь себя, но каждый раз поднималась она со дна, как притопленный сетями буй. И не было нужды выяснять причину своей душевной хворобы — досыта кормило ее одиночество, а душа в сиротстве слабеет, неоткуда ей черпать свежих сил бороться с немочью, даже если кругом столько разных людей.

Федор шел и пытался держать боль у глаз, боясь, что скатится она со лба, заставит-таки сделать передышку, а он торопился домой. Впереди в прозрачном мареве уже маячила крутая гора, увен-

чанная с одного бока скалой, и с ее хребта можно было увидеть поселок, куда он с таким трудом, с такой надсадой и тоской нес свое худое, нескладное тело. Лишь на секунду поднял он тяжелую голову, смерил расстояние взглядом и тут вновь накатило, застлало пеленой белый свет, и опять кто-то вместо него подсмотрел сквозь зыбкую пленку, как медленно бредет Федор по сыпучей дороге, и одна обочина ее — синяя вода, а другая — золотисто-зеленая стена соснового леса. И будто тот, другой, обернулся на неровную цепочку следов, заспешил по ней назад, туда, откуда Федор недавно вышел, где очнулся от забытья под опахалом широкой хвойной ветви, искривленной книзу, как выкрученная в детстве слабая рука.

...Там, на сухой полянке, придя в себя, он долго и очумело водил глазами по сторонам: дотлевал бледный на солнце костерок, валялись обляпанные сверкающей рыбьей чешуей обрывки газеты, куски хлеба, консервные банки и пустые бутылки. И не сразу сообразил, какая бесовская сила занесла его сюда в субботний день. Так, в полубессознательном состоянии, поднялся он с земли и, едва передвигая ноги, пошел к песчаной гряде, за которой тихо и освежающе дышало море. И только когда окунул коричневое морщинистое лицо в ладони, полные ледяной воды, ощутил резкую боль в голове и окончательно понял, что занесло его недалеко от дома. Нащупав в кармане помятого пиджака истерзанную пачку папирос, Федор присел на корточки, высоко выставив острые коленки, облокотился на них, глубоко затянулся крепким табаком, спугнул морок и стал припоминать события по порядку. Сделать это было непросто: мысли путались, ему никак не удавалось уцепиться за кончик памятной нити и разом вытащить все, что случилось с ним. И он встал, двинулся вперед, на ходу думать было легче.

Утро он встретил у магазина, собственно, наверняка началось оно, как и положено, с восходом солнца, но его Федор видеть не мог — проспал. И как бы сразу очутился на истоптанных ступеньках торговой точки, открывать которую продавщица Елизавета не торопилась, а он тоже не шибко подстегивал свое нетерпение — в долг товар ему уже давно не отпускали. А в карманах после развеселого вечера не то что не шуршало, не бренчало даже, и это было привычно. Федор на всякий случай все же слазил в них поочередно с тайной и несбыточной надеждой. Но нащупать в карманах, кроме табачных крошек, ему ничего не удалось, и он со вздохом произнес: «Два валета и вот это». Веселые слова упали в пустоту, и Федору стало неуютно, зябко сидеть у закрытого магазина.

Впрочем, была надежда — куда он без нее — она и согревала Федора, удерживала на крыльце. За долгую свою жизнь — а ему недавно стукнуло пятьдесят пять — Федор приобрел безошибочное чутье на удачу. И умел ее дожидаться, что в конце концов и вознаграждалось: щедро, нет ли — не в этом дело, важно, что желание почти всегда исполнялось. Вот и сегодня подрагивала в нем тоненькая чуткая жилка, вибрировала, как ивовый прутик водоискателя над спрятанной под землей водой. Что-то должно было вот-вот произойти, и произошло так же верно, как каждое утро встает над головой солнце. Надежда подсказывала Федору следить за дальним концом улицы, и он ничуть не удивился, когда там возник пыльный ком, накатился на магазин с утробным рычанием, и из него вылупилась нарядная, как пасхальное яичко, легковая машина. Легковушка мягко тормознула, мягко присела рядом с порыжевшими от долгой носки сапогами. Из открытых окон на Федора с большим интересом уставились три пары глаз. Так холодно и отстраненно смотрит из-под воды хищная рыба на пляшущую наживку, прежде чем стремительно подняться и сглотнуть.

«И эти за рыбой приехали, всем надо омуля, — разочарованно подумал Федор, предчувствуя все, что за этим последует. Ему проще было иметь дело с беззаботными туристами — те просили красоты, а ее здесь, на Байкале, было вдоволь. Всего-то делов: отвезти на берег, сварганить диковинную для них закуску — омуль на рожнах, тихо-мирно посидеть у костра и — до свидания. — Но где же сейчас, осенью, взять любопытного туриста? Подошла путина и принесла с собой тихое помешательство

людям: и едут, и едут сюда, не лень же им тащиться в такую даль. Возись теперь с ними, а делать нечего», — подбодрил он себя и сделал лицо, выражение которого можно было истолковать сразу как: а, видал я тут всяких, и — милости просим, спрашивайте, чем могу — помогу. Но те, в машине, пока молчали, изучали его, и он скромно стал рассматривать землю под ногами. Настроение у него с утра было чудное: и выпить на дармовщинку хотелось, и подмывало набедокурить — не оправдать возлагаемые на него надежды. И пока он быстро так думал, сверял мысли с душевным состоянием, дверца машины распахнулась, и из ее кремового нутра высунулись чьи-то длинные ноги в белых штанах. Федор с интересом пронаблюдал появление возле своих чеботов затейливых штиблет и, не торопясь, поднял глаза на их хозяина. Перед ним стоял плечистый, аккуратно стриженный, с рыжими, скобкой на ухоженном лице усами молодец. Из-под кепочки с длинным козырьком на него смотрели светлые выпуклые глаза: нахально и весело.

«Так и знал — иноземец», — грустно и обреченно сказал себе Федор. Иноземцев он не любил больше всех других людей на свете. А называл ими таких вот чужих ему по одеже и духу приезжих, которых расплодилось где-то нынче чересчур, а жить с ними на одной земле не становилось сподручнее. Не то чтобы мешали они Федору, скорее наоборот — просто не замечали они его, разве если обратиться больше было не к кому.

— Здорово, батя! По какому случаю лавка закрыта? — осведомился иноземец — с чего-то ему надо было разговор начинать, и он произнес первое, что на ум пришло.

Голос у парня не соответствовал наружности: мягкий, мокрый, как банное полотенце. Неприятный этот голос Федор впитал в себя и поежился, что-то подсказывало ему не связываться с чужаками, встать молча и уйти, как это он обычно делал, если чувствовал, что ничего путного из знакомства не получится. Но то ли ослаб после вчерашнего, то ли еще не отошел от тяжкой ночи и подавил в себе желание. Сидел, помалкивал, выжидал, пока слова гостя вдоволь в воздухе нависятся и родятся новые:

— А ты-то что тут делаешь, батя?

И уж тогда не спеша ответил:

— Чай с лимоном пью, не видишь, что ли?

Очень не любил Федор глупого начала разговора, потому как давно уверился, что конец его еще дурнее выйдет. Приезжий хохотнул в ответ, и в машине эхом откликнулись его приятели. «Ладно хоть юмор понимают», — усмехнулся и Федор. Так или иначе, а росток знакомства проклюнулся, теперь предстояло его обильно поливать, в противном случае, как возникнуть мало-мальской, на один день, связи между людьми, взаимному интересу, возникшему по нужде или по выгоде, — и то и другое, по разумению Федора, придавало знакомствам особый вкус, как душок омулю, кто понимает.

Продавщица Елизавета все не шла, и к тому часу, как Федор разговорился, под окном магазина образовалась целая завалинка страждущих. Федор, укрепившись в догадке, что не обманулся, парни приехали за омулем, безраздельно завладел их вниманием. Делать это он умел искусно, по этой части соперников у него в поселке было мало. Природный талант! Так что скоро приезжие крепко уяснили себе: сомневаться не следует, все их потребности исполнит этот пожилой, небритый, желающий опохмелиться мужик, смешно поддерживающий свое достоинство. Но их дело было предполагать, а его, Федора, располагать. Развалившись на заднем сиденье, сидел он уже в нарядной машине, как в своей избе, дивился на зеленого пучеглазого чертика, свитого из пластмассовых больничных трубочек, висевшего перед лобовым стеклом, и с охотой отвечал на вопросы новых знакомых. Привычно внушал им, что приехали они за триста верст не киселя хлебать, что только с его помощью их багажник к вечеру тяжко осядет под грузом рыбы, наполнит сердца приятностью.

...Слабое осеннее солнце ли припекло, голове ли стало хуже, а не прошел Федор и сотни шагов, свернул к воде, ополоснул лицо и намочил волосы. Умывание помогло мало — когда выпрямлялся, метнулось рыжей кошкой солнце, горя-

чо тронуло когтистой лапой затылок, аж в глазах потемнело. Опять закачался, замаячил в них глупый чертик — так, чепуха, ерунда и помнить не о чем, а поди-ка, занозила сердце самодельная игрушка. Зеленые и желтые трубки эти, будь они неладны, напомнили больницу: неуверенность, страх, боль, пустоту в сосущем животе. Давно перенес операцию на желудке, лет восемь назад, а зарубка на всю жизнь осталась. Всю жизнь до этого Федор был уверен, что все существующие болезни не про него, а желудок тот и вовсе к хвори неприспособлен — сунь в него гвоздь, и гвоздь переварит да еще попросит. А надо же, свернуло в одночасье и так, что ни охнуть ни вздохнуть. Скрюченного, еле до больницы довезли и месяц там продержали. В больничной палате и увидал он впервые, как мастерят оклемавшиеся мужики от скуки рогатых чертиков. У одного такого, пухлобрюхого, Федор не удержался и спросил: «С натуры, что ли, лепишь беса?» А тот разобиделся, куда там с добром, распыхтелся: «Как вы смеете, я с вами под забором не пил!» В общем, обиделся — культурный, юмора не понимает.

Федор упрямо шел дальше, спотыкался на воспоминаниях.

Весь этот утренний разговор он прокручивал не раз, вроде как стихотворение заучил однажды и навсегда, и крутился он вокруг одного: как, где и почем можно взять омуля, да купить не проблема, вывезти — вот задача. Все обсказал Федор парням, одно лишь приберег напоследок — не объяснил, как провезти купленную на стороне рыбу без справки рыбзавода. Так сказать, оставил на расчет и для гарантии тоже. Бывалые люди понимали все без лишних слов, а эти иноземцы, похоже, и не подозревали, какой у него есть козырь. Впрочем, это его устраивало.

По правде говоря, лукавить с собой Федор ох как давно разучился, с тех пор, как жалеть себя перестал, Осознавал, что если бы приезжие первыми с ним не заговорили, он долго бы не раздумывал, отыскал бы слово-крючок. В чем, в чем, а в этом он не боялся себе признаться — стеснительностью не страдал. Жизнь покрутила, повертела его, помяла жесткими пальцами, попробовала на излом, сломать — не сломала, да ничего, кроме шрамов и мозолей, не оставила. И когда в морфлоте на Курилах служил, когда по молодости-глупости жизнь в неволе испытал — отсидел за драку, и когда женился-развелся, отца-мать схоронил и остался на белом свете один-одинешенек. Из всех печальных событий своей многотрудной жизни Федор извлек по уроку, свел их вместе и выработал философию, понятную лишь ему, да разве еще очень немногим, похожим на него людям. Он серьезно полагал, что достоинство имеет право давать трещину, но расколоть надвое свою личность никому не позволит. Потому как имеет он, Федор, в себе особую смолу, способную залепить, заживить порушенное в душе и сердце. И, как знать, может быть, оттого в свои годы сумел сохранить нервы, насколько их может уберечь пьющий одинокий человек. Случалось, вспыхивал по пустякам и по делу, но тут же гасил бойцовский порыв, не с руки было вразнос пускаться — положение в обществе не дозволяло.

Впрочем, этому, как и многому другому, Федор имел свое доморощенное объяснение: не помнит, когда обнаружил он в себе способность как бы со стороны, из-за угла, подглядывать за собой и оценивать свое поведение всякий раз, когда требовалось пойти на очередную уловку или ущемление достоинства. Наблюдать свои поступки и мысли было удивительно интересно — в этот момент кто-то другой, но свой и близкий, исследовал его и советовал, как поступать. Похожий на родителя, а может быть, и на дочку, живущую в далеком городе, где он ни разу не был, но знал, что она закончила в этом году школу и готовится поступать в институт, в какой вот только, не интересовался. Однако здравомыслящему человеку в наше время и объяснять не надо, что из такого далека, а тем более потустороннего мира подсматривать даже за очень родным человеком ну никак невозможно. А потому Федор часто терялся в догадках, что это с ним происходит и зачем ему дано? Была во всем этом какая-то чертовщинка, жизненная несуразность. И надо бы со всем этим разобраться на досуге, но на трезвую голову и подумать о таком было страшно, а выпивши, не

получалось. Наверное, знаний не хватало.

Вот и сейчас, поддакивая мордастому и плечистому иноземцу Игорьку — как тот игриво представился, так он его и называл — Федор ощутил того кого-то, привычно опустившего теплую ладонь на его затылок и легонько перебиравшего нечесаные волосы, а оттого говорил одно, а думал совсем о другом. О том, к примеру, что знает, чем весь этот бестолковый треп закончится: сейчас парни угостят его, поправят здоровье, — что очень кстати и скорее бы уж догадались, — а потом, на бережку, когда он им поспособствует рыбкой разжиться, устроят пикник. Этому здесь никто никого не учит, люди сами догадываются. И вроде даже знал, сколько выпивки предстоит ему осилить с этими молодцами, вот только чем эта встреча закончится, определить не мог, что-то не связывалось в голове, мешал голос Игорька, как из невыбродившегося теста сделанный. Его приятелей звали попроще: Леня да Коля, но те помалкивали, не настырничали в разговоре, больше отделывались хмыканьем. Из чего Федор сделал вывод, что верховодит в компании лупоглазый Игорь и с ним-то ему и предстоит иметь дело.

...«Хотя, говорят, в тихих все черти и водятся», — с большим трудом припомнил Федор их имена и лица тут, на косе. Он шагал по упругому белому песку и начинал слышать, как песок поскрипывает под подошвой сапога. Поначалу все так и вышло, как волосы на голове пошевелились: была легкая выпивка — для разминки, была рыба, был и пикник. Да как-то неладно закончилось знакомство, иначе с чего бы это он брел сейчас в одиночестве по песчаному берегу и белый свет обжигал ему глаза? И уж совсем худо было, что не мог сообразить, куда же подевались эти развеселые иноземцы, которым на последний вопрос он так и не ответил, а он самый главный.

И опять возвращался Федор по старому следу, припоминал все по порядку, но все воспоминания обрывались на том, что сидят они вчетвером у костра и разговор промеж них идет странный, натруженный.

Но до этого было вот что. Сладился с ними просто, парни догадливые попались. Не побрезговали драной одежкой, нечищеными сапогами, усадили в машину. А легковушка была богатая, шикарная: белая, чистая, большая, как морозильник на рыбзаводе. Помнил еще, что сзади, в ухо, мурлыкалась песенка на непонятном языке. Чертик этот качался — глаз не отвести. Нет, насчет себя он, конечно, не обольщался — принимали они его за шаромыгу, пьяньрвань, за стакан вина машину вымоет, а он и не пытался их в этом разубедить, даже чуть подыгрывал. В себя ведь каждого встречного-поперечного не впустишь, ни к чему из души общежитие устраивать. Да и без того выходило все как надо. И все же в глазах иноземцев, как в автомобильном зеркальце, нет-нет замечал Федор холодок: чего это он старается, как клоун, которого первый раз в кино пригласили сниматься. А скрывать чего — у клоуна из обтерханных рукавов латаного-перелатаного пиджака видны худые запястья, клетчатая застиранная рубаха без верхних пуговиц выказывает впалую грудь, штаны лоснятся от постоянной носки и пузырятся на коленях. Но не праздник же сегодня, не бросать же все и не бежать домой переодеваться, какой есть — другим не стану — отвечал он им безмятежным взглядом.

— Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать,— фальшиво пропел Игорек, сунул руку в сумку и жестом фокусника-недоучки извлек оттуда бутылку вина.— Так сказать, за полезное знакомство и до открытия магазина...

«Так и знал,— мрачно подумал Федор, — сухое, красное, градусов двенадцать по крепости, таким вином только по утрам зубы полоскать». Однако разочарования не показал, постарался тут же забыть свое огорчение. Тем более, что ему первому поднесли и сразу полный стакан набухали, а то знал он этих городских жителей, умудряются и такого киселя на донышко стакана плеснуть. Красная вязкая жидкость приятно охолонула горло, сняла накипь с языка. И Федор легче покатил фразы, как галька водой обточенные. Но все время тот, другой, кто ум его караулил и до поры до времени спал в нем, как за печкой, вскидывался, подавал голос, присоветы-

вая: так-так, туда разговор правишь. Или другое нашептывал: не поддавайся, замечай ухмылки, перегляды, да про запас складывай, авось пригодится. Или — а чего это те двое молчат, не поворачиваются, пренебрежение выказывают? Ты-то знаешь, что это лучше всего затылком да спиной удается делать. Зоркий он был, этот другой, но и ему, видно, было с вином не совладать, размяк скоро, осторожность потерял.

Дрожащей рукой Федор и второй стакан принял и пропустил его с равнодушным видом, отметив плохо скрытую усмешку Игорька: знаю я твой кураж, в таком разрушенном состоянии-то, абориген, не то что от сухого вина не откажешься, одеколоном не побрезгуешь, а потому знай свое место. С последним глотком влил он в себя это пренебрежение, но напрягся и не дал тому, потустороннему, что в нем сидел, возникнуть. Понимал: бедовое настроение надо до поры сдерживать, вино это кислое отработать.

Парни разошлись, от него не отставали, тоже опрокидывали стаканчик за стаканчиком, даже тот, кто за рулем сидел, пригублял — Коля, кажется. Из чего Федор сделал вывод, что в обратную дорогу ребята не торопятся, значит, ночевать будут в поселке. Но в машине втроем не уместиться, чего доброго, на ночь проситься станут, да он и не против, пусть переночуют, если безобразничать не будут. И в этот момент словно ласковой ладошкой провели по его груди, сняли давящую тяжесть — освободилась, заиграла каждая жилочка в теле.

— Зовите меня Федор, так привычнее, — добродушно разрешил он парням, — а если вдругорядь приедете, станете в поселке спрашивать, можно еще проще — бобыль. Меня здесь все знают.

— Так ты точно можешь омуля достать? — вдруг нетерпеливо перебил его сидевший рядом с водителем Леня: самый сытый среди них, с круглыми пухлыми плечами, гладкий да румяный, вроде подсолнечным маслом смазанный. — По сотне хвостов на брата? А лучше бы побольше. Это, так сказать, программа минимум для тебя,— не глядя на него, по-прежнему добавил он, словно бы уже купил Федора за два стакана кисленького.

«Шалишь, паренек, торопишься», — только и подумал Федор — высунулся-таки лукавый чертенок, промелькнул в глазах, а Игорек дошлый уж словил тотчас этот притушенный огонек. С любопытством ощупал взглядом его лицо — неужто показалось? Внимательный он был парень, этот Игорек.

— Знаем, знаем, что непросто такое дело спроворить. Да ты, Федор, не волнуйся, водочки сейчас прикупим, обмоем покупку...

— Штормило ночью, рыбаки еще не вернулись, далеко сети ставят, после обеда разве что, — выигрывая время, лениво сказал Федор. А сам уже прокручивал в голове — у кого на этих днях в огород чайки пикировали, потроха подбирали, выказывали удачливых рыбаков.

— Да нам готовой, соленой рыбы надо, — не выдержал Леня. — Некогда нам возиться со свежей.

— Так можно и посолить, куда торопиться-то, времени у нас дополна, у рыбаков свежей подешевле возьмем, — проверил финансы гостей Федор.

— Да, деньги есть, ты о них не думай.

— Так по свету все равно вам мимо постов не проскочить,— обмолвился он.

— Какие посты? — забеспокоился Игорек,— мы сюда ехали, никого не видели.

— Так они вам и представились. У моста через речку, в кустах, легковая не стояла? А на длинном спуске?

— Так мало ли нам по пути машин встречалось, поди, разберись, — заволновался тот, но не так, чтобы очень, сразу видно — впервые за рыбой приехали, — отличи инспектора от туриста. Что, и проскочить никак нельзя? Не может быть, — уверенно заключил Игорек.

— Иной и тыщу хвостов провезет, а другой с десятком омулей вляпается. Каждому свой фарт, — неохотно ответил Федор, не желая до конца посвящать парней в мудреное дело доставки рыбы в город, не разобрался еще в них: то ли в самом разе такие они ухари, то ли дурачат его, ваньку валяют.

— Риск — благородное дело, проскочим, — заявил пышнотелый Леня.

— Ну ваше дело, мужики, были бы деньги,— сказал Федор.

— Этого добра у нас хватает,— ух-

мыльнулся Игорек. — Ты, Федор, не жмись, я слышал, что по полтиннику просят за хвост, так и бери за такую цену.

Через полчаса он взял им омуля: тугого, только что усолевшего, и сколько просили — раз деньги есть, чего же не купить. И парни повеселели, разыгрался у них аппетит — решили дождаться, когда с моря вернутся рыбаки, и у них еще подкупить.

— Может, у кого еще есть,— приставали они к Федору, — так давай, сразу и возьмем, чего время терять, пора уже и обмыть покупку.

— Да куда вам столько, не увезете,— добродушно щурился Федор, дурачился вроде.— Я ж вам говорил, что после обеда придут мужики с рыбалки, там посмотрим.

Лукавил Федор. Сейчас, осенью, да тем более за хорошую цену, мог он взять омуля, сколько душа пожелает, да чего-то тянул, приберегал свои возможности. Чужими были для него эти парни — исходил от них холодок. Внутри себя он немного жалел, что связался с ними, рыбу им достал — на это себя ведь тоже надо было потратить. Опять же подсобили они ему в трудную минуту сухим вином. Вино он отработал сполна, а потрафить больше не хотел. Не любил Федор, когда от его старания не случалось ни радости, ни удовлетворения. Обычно он редко промахивался с теми, кому вызывался подсобить, и если брался, то делал все по совести, тогда и получалось ладно. Важно не начать, а как потом закончить дело.

Но делать было нечего: взялся за гуж, так уж будь дюж. События после покупки развивались как бы сами по себе — как толкнулись неловко, так и пошли по этому дню. Широкая белая машина, мягко покачиваясь, катила по песчаной дороге, приседала на ямах и легко одолевала колдобины, везла за околицу, туда, куда указал Федор водителю. Маршрут этот был давно им отработан, обкатал он его на многих приезжих, случалось, и глухой ночью в большом подпитии точно выводил их на заветное место.

Федор заранее предчувствовал, до последнего возгласа, какими словами встретят новички тихую полянку под раскидистыми соснами, как ошалеют поначалу от глубокой тишины, близости моря, пахучего и прозрачного воздуха. Да и сам он, честно признаться, обнаруживал сейчас в себе стеснение в груди, мягко ныло сердце, и иногда замирала душа, вроде ойкнет и отпустит. Но расслабляться ему было недосуг, пока другие красоту принимали, он спешил хворосту насобирать, костерок спроворить пожарче. Тут, на песчаном берегу, с дровами скучно было, редко стояли сосны да лиственницы, и, если забыл в багажник сухих поленьев бросить, приходилось полчаса потратить, в то время как гости к морю синему сходят, прикоснутся к воде, не только глазами издали потрогают. А чего, не жалко, не убудет море-то. Оно единственное, и было у него, что нельзя было откупить, отобрать, затолкать в машину и увезти.

Место здесь и впрямь удивительное было, может быть, у кого-то другие слова находились, покрасивее, чем у Федора, а ему и такое годилось. Если дано было ему иметь свой уголок на этом свете, то именно здесь. Видно, случилась у Создателя хорошая минута, вздумалось насладиться тишиной и покоем, опустился он в маленькой бухточке, расположился, в задумчивости провел ладонью по сахарному песку, и получилась плавная гривка, за которой он причудливо и свободно рассадил взъерошенные сосны. Подумал немного да обрамил бухточку жемчужными скалами, глядящими в васильковую воду,— в нее добавил чуть изумрудного цвета, совсем каплю, а красиво.

С гривки песчаной, скатывающейся к чистой косе, открывался ничем не стесненный простор, и по нему плавно катили волны, на них в любую погоду кормились чайки. Места тише Федор нигде не встречал, если прислушиваться, можно было различить, как струится густой воздух, обвивает золотистые тела сосен, ворошит ветки, усеянные бордовыми шишками, как пуговицами кафтан, а приглядеться, можно было заметить, как течет, напевает, мелкий песок на гребнях дюн.

Но крепко ошибался Федор, думая, что и в этих людей вольется здесь неземная красота. Парни лениво выбрались из машины, потянулись, как коты на за-

печке, распрямили затекшие спины, по-хозяйски огляделись вокруг, и ни у одного не мелькнула в глазах божья искра — а за этим Федор всегда ревниво следил. Не получалась радость. Они скоренько разостлали прозрачную пленку под сосной, на мягкой подстилке сухих иголок, выгрузили бутылки, банки, другую припасенную снедь и собрались было на скорую руку и всухомятку отобедать. Так бы и сделали, да Федор вмешался, отставил стаканы в сторону, не позволил торопиться. Пока он стругал ножом рожны под омуль — успел захватить, когда покупал рыбу, пяток свежих отборных сижков — парни лениво собирали сушняк. А когда забился, затрепетал костерок, извлек на свет тугобоких, серебристых, утром пойманных рыбин и сам залюбовался украдкой, какие сильные, стремительные, красивые они водятся в его море. Даже жалко было изводить. Тут даже его гостей проняло, до того ко всему остальному неохочих, охнули, присели на корточки вокруг сижков, потянули руки к красавцам. Откуда им в городе знать такую рыбу, не продается она и не покупается, такую можно только по близкому знакомству выпросить у добытчиков, если, конечно, любят тебя и уважают.

Сложные были отношения у Федора с людьми в поселке, особенно с женщинами. Бобыль, одним словом. Ревниво относились бабы к его появлению в своем доме, справедливо рассуждали, что если возникнет на пороге их рая черт-Федька, жди — начнется кутерьма. Потому как не мог Федор жить просто так, спокойно существуя, — не для того уродился, не для того тело свое нескладное по белу свету носил. И правы были жены, и без того мужей редко видевшие, как-будно медом был намазан бобыль: и оглянуться не успеешь — ушел и мужика увел. Ну а мужики, особенно те, кто в путину в море хлестался, ревматизм зарабатывал и без горячей закуси портил водкой желудок, относились к нему с пониманием, умели приветить его. Да и как не приветить: кто, в любое время, лишь попроси, изладит изгородь, выкопает погреб, починит крышу, сложит печь или окучит картошку? Много такой работы, до которой из-за рыбалки руки не доходят. А Федор, он безотказный. Но не только поэтому, помнили, как в свое, пусть короткое, счастливое время правил он летом и осенью еще деревянный бот по морю и свой заговор на рыбу имел — густо забивали ячею сетей омули, сиги да хариусы, и осетр мимо не проскакивал. Давно это было, остались от того времени боль в суставах и тяга к причалу, особенно, когда к нему боты гуськом возвращаются, зарываясь носом в волну. Едва завидев их дальнозоркими глазами, подхватывает Федор кошелку, мчится на пирс, раскачиваясь на длинных журавлиных ногах, и терпеливо дожидается, пока ткнется мотобот бортом в причальную стенку, привяжется к ней и заскрипит ручная лебедка ржавым голосом от натуги. Стоит Федор, смотрит, как взмывают ящики, полнехонькие свежей рыбой, где трос поправит, где ловчее ящики соштабелюет, подсасывает в животе от такой желанной работы, но волнения своего он не выдает, терпит, одни глаза чего-то жаждут. Стоит он так недолго: бригадир ли помашет призывно рукой, другой кто из команды свистнет-крикнет: «Эй, бобыль, чего мнешься, давай к нам на помощь!»

Эта минута самая желанная для него, самая радостная, может быть, ради нее одной и поспешает он каждый день сюда. В эту минуту он как бы сравнивается с этими отстраненными от всего мира мужиками, кому сейчас, в путину, сам черт не брат. На зависть остальному праздному народу, прыгает на палубу, неторопливо и важно перешагивает через ящики, отгребает сапогом жидкое серебро, не глядя на тех, кто молча трудится наверху, на причале, покуривает и пыхает папиросой. Можно, конечно, подставить кошелку, и рыбаки насыплют в нее омулей, если трюм не забит рыбой, но это не то, не тот кураж. Федор еще немного пережидает, сидя на леерах, щелчком отправляет окурок в воду и начинает помогать мужикам набивать ящики, вязать их тросом, отправлять вверх. Между делом подбирает себе с десяток омулей под килограмм каждый весом, пяток хариусов, да если рыбаки удачную ходку сделали, отбрасывает в сторону пару сижков. Но так не всегда, а с богатого улова. Много ему не надо, потому Федор никогда не жадничает, не хапает, как это, бывает, случается с те-

ми, кого иногда и по большому знакомству пускают мужики на палубу. За это видно уважают его они, а потому лишь перемигиваются, улыбаются да легкие матерки пропускают, видя как он старается.

Есть и еще один маленький секрет их любезности: редкий из них не побывал в его хижине, якобы по делу выскочил из дома да забежал на огонек к бобылю, у которого к вечеру, а то и глубокой ночью, всегда найдется что выпить. А закусить уж сам морской бог велел — этим самым выловленным недавно сижком или омульком: соленым, копченым, жареным, просто сваренным. Один домовой знает, как это ему удается из сырой рыбы, соли да картошки сотворить такую уху. И сыт вроде от пуза, дома жена не такими разносолами балует, а поди-ка, взял ложку в одну руку, стопку в другую, и потекла беседа с прихлебом. До тех пор, пока супруга отрывисто не брякнет в стеклину, не желая даже переступать порог ненавистного ей жилища. И скандалы мужикам закатывают, и, случается, приложатся к мужней щеке раз-другой, а все им неймется, тянет их в курную избу, что тут поделаешь.

Ничего ему не жалко для таких гостей, последней едой делится, и как бы выходит, что они друг друга кормят.

...Федор пластает рыбу, навдевает на рожны, а парни все успокоиться не могут:

— За такой хвост и рубля не жалко, нам бы таких, толстобрюхеньких. Достань? — пристают они к нему.

— Нет, таких не могу, такие не продаются, — щурит Федор глаза от дыма и втыкает рожны вокруг костерка: не далеко и не близко, в самый раз, чтобы огонь как следует прожарил сочное мясо. Его коробит от такого выпрашивания, он еще обижен на гостей за то, что не оценили они по заслугам заветное его место, а вот к рыбе сразу приценились.

Человек он слабый, сумели подойти бы к нему душевно, с пониманием, может быть, и расстарался бы он ради дружбы, нарушил данное себе слово — выпросил для них немного этой отборной рыбы. Но нету в них такого таланта — понимает он и еще раз жалеет, что купился первым встречным, не мог подождать.

На жаление у него больше не остается времени, рыба на рожнах скворчит, исходит соком, и притомившиеся парни торопливо булькают по стаканам водку, тянутся с первым чоком.

...Все это Федор помнит хорошо, а что было дальше? Дальше и случился какой-то трудный болезненный разговор, от которого сейчас и раскалывается голова. Тошно припоминать, а надо. Федор спотыкается, сворачивает с пути вдругорядь и медленно идет к холодной воде. С шипением набегает волна, мочит сапоги и достает худые запястья, когда он окунает в нее руки, студеные ладони скользят по лицу, смывают короткое беспамятство. Над головой орут чайки — прорезались у них голоса — кричат хрипло, бестолково и жадно, будто не поделили чего и ссорятся. «Вот ведь красивая птица, а не дал бог приятного голоса, и портится к ней отношение», — машинально, какой уж раз в жизни отмечает Федор и возвращается к воспоминаниям.

Пить водку с парнями было неинтересно, скучно. А его слушать они не хотели — не для того приехали, сами же трепались вовсю, но войти в их разговор Федор не мог, как ни старался. Не вязались его слова с иноземными. Не принимал он их жизнь. После первой утренней выпивки он вроде понял их отношение к себе, а теперь засомневался, не слишком ли хорошо о себе думал? Чем дальше убегал от него чужой разговор, тем больше убеждался он, что ошибался, думая и надеясь — не совсем же испоганились ребята в своих городах. Сообразил: теперь он для них отработанный материал, бросовый, чего с него еще взять, разве рыбы вдобавок к той, что уже в мешок упакована? Федор начал злиться, а это уж совсем ему ни к чему было, и он постарался отмякнуть душой, благо сделать себе хорошо нетрудно было, стоило только отвернуться от парней и посмотреть на синее море. Тянуло его на добрый разговор: хотелось о себе рассказать, о других узнать, своей бедой поделиться и от чужой не уйти, а лучше толику радости от людей принять — небольшая да подмога для одинокого сердца. В общем, еще чего-нибудь хотелось о жизни узнать. Но парни, захмелев, вовсе забыли о нем, вроде подсел он к ним

случайно, выпьет свое и уйдет. Тут-то и выползло наружу все их пренебрежение к замызганному, изжившему себя мужичонке, спившемуся на таких вот выездах на природу.

Хмель забрал Федора круче, но голова работала, и он стал соображать, что приехали иноземцы к нему не затем, чтобы рыбки домой прикупить, жен и ребятишек омулем побаловать. Была у них еще какая-то корысть: то ли перепродать, то ли выменять за рыбу что-то, то ли еще по какую холеру понадобилось.

— Внакладе уже не останемся,—бубнил Игорек. — Сделаем, как договорились, навар что надо, мы им омуль, они нам шмотки. Это вам не фирму бомбить на набережной.

Ничего не понимал Федор и перестал слушать, прислонился затылком к сосне, ощутил приятный холодок дерева и прикрыл глаза. «Дочка не едет,— отчего-то пришло на ум, — давно уже не гостила, ну да в это лето уж не дождаться, поважнее дела есть, в институт поступает. А может, больше совсем не приедет, выросла», — испугался он. Потом тоже ни с того ни с сего жена вспомнилась мимолетно — так, чиркнул спичкой, а она не зажглась. Жену он давно из памяти вычеркнул, не осталось от нее в сердце ничего: пусто, мертво, выжжено там, где ей было судьбой определено находиться.

Незнамо сколько бродил Федор по закоулкам своей памяти, хмелем взбудораженной, а когда очнулся, то сквозь дрему услышал все тот же разговор: галдели, перебивали друг друга парни, непонятными словами бросались, разве что не ссорились, как чайки из-за дохлой рыбешки. Все теперь вертелось у них вокруг каких-то тряпок, иностранцев, толкучек, денег, которые они называли валютой, — это Федор еще понимал, в морфлоте служил. Другого в толк не мог взять — чего об этом они, как бабы, треплются. Вскоре разобрал, что все трое работают вместе и вроде в гостинице, иностранцев встречают двое, а третий с ними расплачивается — Игорек.

— Что-то я, ребята, не пойму, где вы служите? Портные, что ли? — добродушно спросил он их. — Слушаю-слушаю, да разве разберешь ваш разговор, нахватались словечек, я их в первый раз слышу. Без привычки и не выговоришь, одно только и понял — лайба.

— Лэйбл, — с чужеземным выговором поправил его Игорек, захохотал и повернулся к приятелям: — Во, видали, совсем отсталый абориген нам попался, пусти такого в Европу, опозорит.

— Ага, портные мы, — ехидно оживился Коля, — шьем и порем, от фирмы не отличишь. Бывает за один день столько настрочим, что шмотки в багажник не помещаются, а каждую у нас покупают за две-три сотни. Во, швейная мастерская у нас какая!

— Да будет тебе заливать,— не принял за чистую монету разглагольствования парня Федор.— Я тоже могу загнуть такое, от чего уши повянут, — и решил, что на этом розыгрыш закончился.

Но не тут-то было, нечаянно задев их интерес, он неожиданно оказался в центре разговора. В три голоса стали они объяснять ему, что то, чем они занимаются, называется бизнес, а лэйбл — это что-то вроде наклейки, ну а «бомбить фирму» — это приблизительно — снять штаны с иностранца, прежде чем он сообразит, зачем это его оголяют.

— Спекулируете, что ли? — не понял Федор, решив шуткой разрядить непонятный ему разговор.

— Ты, бобыль, говори да не заговаривайся, — зло оборвал его Игорек, и Федора царапнуло не как он это сказал, а то, что назвал бобылем, впервые за все знакомство.

— Что такое фарцовка, слышал? — хмуро добавил Леня,— берешь у заграничных дураков, продаешь советским...

— Э, да вы фарцовые ребята, — попытался пошутить словом фарт Федор, но вызвал другое неудовольствие Игорька.

— Не твоего ума дело, бобыль. Ты посмотри на себя, за границей в такой одежде даже нищие стыдятся по помойкам лазить. А ты с нами сидишь, настроение портишь и весь вид. Да ты посмотри на Кольку, у него один шнурок от кроссовок дороже всего твоего барахла стоит.

— Зря ты так, Игорек, — растерялся Федор, — крепкая у меня еще одежонка, пиджак вот только маленько прохудился, так у меня дома еще один есть, выходной.

— Нет, вы видели такое чучело, он еще возражает, пиджак у него дома есть. Мэйд ин Джапан? А может, Париж, семья Диор? — с вывертом подпустил он.

— Я что, если в ваше шмутье оболокусь, лучше, что ли, стану или складнее заговорю? — кровь бросилась в голову Федора, противно стало. Он поднялся и пошел на косу, попить свежей водички и хоть немного отойти от тягостного разговора.

Пробыл он там недолго, а когда возвращался, мимо с гоготом пронеслись парни. «Ну и черт с вами», — подумал он и опять присел у сосны, налил себе водки, оглянулся, собираясь выпить, и онемело застыл: парни буровили ногами чистый песок, оскальзывались на мелких камешках, кидали в чаек гальку и вдруг — совсем уж срамно сказать — стали гадить прямо в море. От такого кощунства Федору стало плохо, он выпил и на какое-то время погрузился в дремоту, надо было забыться — никогда прежде не случалось тут такого святотатства. В чувство его привели громкие слова:

— Дрыхнет, абориген, наклюкался, на что он нам теперь сдался? Что в поселке другого не найдем? Их там стая бродит...

— Туда же еще, за стакан последнюю рубаху отдаст, а лезет с рассуждениями.

— Кому она, рваная да вонючая, нужна...

Последнее особенно задело Федора — рубахи он стирал сам, а эту надел недавно, после бани, не погладил разве что.

— На хрена вы мне, орлы такие, нужны, — открыл он глаза и попытался сказать это твердо, но без горячки. — Я же к вам по-людски отнесся, как к своим: рыбы достал, сготовил закуску. За что вы изгаляетесь, хаете меня, как последнего?

Все, что накипело у Федора: сегодня и в прошлом к таким вот иноземцам, что давно копилось, оседало мутью на донышке души, — выплеснул он в сытые бесстыжие морды. По их разумению, жить они умели, а он нет, но так, как они жили, Федор не желал даже в малости. Наконец-то собрал он воедино все их разговоры и окончательно сообразил, что черт попутал его с барыгами. Совсем погано стало на сердце у Федора, всякие люди бывали с ним на берегу, но такие еще нет.

Парни опешили, не ожидали такой прыти от пьяного мужичка. Мрачно выслушали. Федор собрался было продолжить, высказать все до конца, но тут истошный пьяный голос Лени прервал его:

— Да он, алкаш, всю нашу водку выхлестал, пока мы ходили. Точно, вот последняя бутылка под кустом валяется, пустая... А ведь почти полная была!

Федор и в самом деле, пока их не было, плеснул себе в стакан немного, справедливо рассудив, что и его порция в бутылке есть. Да видно в замешательстве от того, что приезжие на берегу творили, поставил ее неловко, бутылка и сковырнулась, пролилась до капли. Ему самому было до слез жаль продукта. А парни разошлись не на шутку: орали зло, матерно, так даже он стеснялся выражаться. Махали руками под самым носом, вжимали каблуки в песок и сухую хвою. И все это с ненавистью, будто он враг их заклятый. Федор не то чтобы испугался, насторожился — от таких всего можно ждать, родного батю не пожалеют за свой кусок, если разойдутся не на шутку. Постоять за себя он умел, правда, не те силы, и их трое, а вокруг ни души... Может быть, парни поорали-поорали бы, выпустили бы пар да успокоились, должны были соображать, что не в подворотне родного дома, не совсем же дурные, чтоб без опаски сдачу получить жить. Но давно никто не обижал его так, как эти. Беспощадно, по-скотски, а может, другое что взыграло, сказал им:

— Спекулянты вы поганые, вот вы кто. Слышал я все ваши разговоры: как достать, как продать, как объегорить. Таких, как я, простаков. Этому вы научены. Присосались к чужому телу и дуете кровушку. Родину за тряпки унижаете, гады, душить вас надо, а я с вами водку пью, мараюсь, — сорвался голос у Федора.

На этом память обрывалась. Потом, кажется, его били. Определить это сейчас он не мог, потому что вроде все на нем было цело и лицо не болело. Да и не умеют торгаши ничего по-настоящему делать, по-мужски, даже отколотить, за-

шибить, правда, могут ненароком, от жадности. Но разок, видно, приложились крепко и по голове: не помнил Федор, как они его бросили и уехали.

2

Федор добрел до конца песчаной косы, откуда круто вверх по скалистому склону карабкалась извилистая и ухабистая дорога. Смутное тревожное чувство владело сердцем. А вроде чего было волноваться: жив, здоров, сытые чайки попрежнему над белыми скалами безмятежно витают, вскрикивают гортанно, и море успокоилось, словно плеснули в него лагушок нерпичьего жира, лежит камнем лазуритом: синее в светлых разводах и крапинах птиц. Но как будто обокрали душу, чего-то не хватало ей, так, бывает, недостает одного полного глотка свежего воздуха: вздыхаешь, вздыхаешь и не можешь вобрать его в легкие. Федор отнес такое состояние на счет выпивки, перебор которой случился так рано, и с усилием стал одолевать подъем.

«Вот ведь как неладно все вышло»,— попытался укорить он себя, отыскать свою вину в событиях, случившихся вслед тому, как отворила двери магазина продавщица Елизавета, но воспоминания по второму разу ему не дались, противилось им сердце. Ему уже не было обидно, что поколотили его, страдал немного от другого — что сдачи не дал, если такое и случилось. А в голове колыхалось зыбкое марево, туманило мысли.

Тяжело давался ему подъем, на спине выступила испарина, и колени тряслись. Наконец Федор ступил на гребень, перевел дыхание и оглянулся на море в блестках, оторачивала которое изогнутая белым серпом песчаная коса, похожая на яркую полоску зимнего народившегося месяца. С высоты горы не было уже видать его следов, а следов придурошных его гостей тем более. Солнце грело затылок, а впереди, спуститься осталось, лежал поселок, надо было возвращаться в него, нести в дом неспокойную душу.

«Но ведь не из-за того полез я в бутылку, что осрамили меня, как хотели, не из-за того, было еще что-то, отчего я взбеленился, я ведь себя знаю», — подумал напоследок Федор и заспешил вниз.

Солнце на спокат пошло, когда Федор тихо притворил за собой калитку и пошел к крыльцу, от которого одна только плаха и осталась. Изба его крыльца давно не имела, когда-то оно было, да вросло в землю по самую макушку, а может, зараз дом так построили, спешно — он не проверял. До и после войны сюда разных людей ссылали, на голом месте не до хором было переселенцам по неволе. Федор потоптался несколько минут перед дверью, не желая сразу войти в дом, будто боялся занести в него заразу, снял пиджак, отряхнул, разулся и аккуратно поставил сапоги у завалинки. И только тогда толкнул дверь в сенцы, и та легко отшатнулась и впустила его — один он в поселке остался верен привычке не запирать дом, да и что ему было в нем прятать: пустые стены да печку?

Странным был день и странно заканчивался: даже выпить не хотелось. Федор прошел босиком на кухню, подвинул табуретку близко к неприбранному столу и огляделся: чего-то не хватало чтобы успокоиться, чего-то хотелось. И он вдруг подумал: «Печку, что ли, затопить, все веселее будет?»,— но тут же одернул себя — сдурел, лето на дворе, с чего зябнуть? Однако желание вновь вернулось к нему: «Хорошо бы завести живой огонь, омертвела печка без дела; вынесло бы, развеяло затхлость. А, топи не топи, без бабы все равно жилым пахнуть не будет, проверено». И он подальше отодвинулся от печки — не искушать себя — уронил голову на руки.

Старый его дом давным-давно был заселен душами людей, живших в нем, когда он был наполнен смолистым запахом, и после, когда прошли годы и подгнили венцы. Все они были для Федора своими, иногда ему даже казалось, что он ощущает их бесплотное присутствие. И вполне серьезно полагал, что чужими души не бывают, родней приходятся друг дружке, хотя и не по каким бумагам это не определить, нет таких на свете бумаг. И все же, какое бы множество не толклось их в избе, совсем родные души он отличал — те, что поселились в ней с тех пор, как откупили ее родичи. В родных стенах ему всегда становилось легче, в какой бы душевной непогоде не

пребывал, а вот сегодня не мог разом освободиться от поганого чувства, что совсем плохо прожил такой солнечный день.

«Да что это случилось со мной? Не было ничего похожего, а может, и было, да забыл?» — думал он, уткнув глаза в рукав рубахи. Не мог избавиться от муторной сосущей сердце тоски. А ведь всегда умел быстро приводить в порядок мысли и чувства дома. Но сегодня даже те, кто обитал в избе, отвернулись от Федора, жались по темным углам, не хотели или не могли поддержать его в тяжелую минуту. Видать, и им очень тоскливо стало.

«Выпить надо, да негде взять, — мысли было заскользили по накатанной дорожке, да вдруг сбились: — живу не полюдски как-то, словом не с кем перемолвиться». А чего было спотыкаться, давно уже привык к одинокому своему житью, и до сего дня оно его устраивало, что ж теперь-то страдать?

Федор поднял голову и стал смотреть через стол в распахнутое окно — из него на кухню вплывал свежий густой воздух, разбавлял застоявшийся запах курева и затхлости. Окно глядело на огород, большой и пустынный: когда-то росли в нем кусты ягоды, зеленели грядки, а в это лето он даже картошки не посадил, лень было. Откуда-то из-за крыши, в той стороне, где малиновое солнце пряталось за хребты, падал багряный бархатный отсвет, орошал бесплодную землю — сухую, припорошенную белесой мягкой пылью.

Тревожный этот отсвет заставил вспомнить о происшедшем сегодня, но Федор тут же выдернул из сердца занозу, пересилил мучительные воспоминания — уж больно нехорошо все вышло. Сладкий запах осеннего вечера повернул мысли на другой лад, и захотелось Федору очутиться в одно мгновение на лесной деляне, куда определило его прошлой зимой поселковое начальство, — дрова заготавливать. Случайной этой работой он был очень доволен, на удивление всему поссовету, давно и безуспешно боровшемуся с ним, — редко на какой задерживался он более месяца, за что обидно именовался: бобыль-тунеядец или горе-бич. А привлекала она общедоступным смыслом: никто не стоял за спиной, не канючил: бери больше, кидай дальше. Там он был сам начальник и сам подчиненный, хотел — от темна до темна не разгибался, не хотел — ягоды собирал или рыбу удил. На харчи зарабатывал.

И вроде примечталось Федору, что сидит он у наспех сколоченного из горбыля зимовья, неподалеку от того места, где однажды осенью выстриг в тайге смерч широкую и неровную, как плясалось свитому жгутом воздуху, ленту, повалил накрест вековые деревья, которые он с напарником Митькой добывает на дрова. Бурелома там много — пилить не перепилить, не на один год хватит,— и это радует Федора, может, забудет поссовет обидные прозвища и пенсию даст. Правда, туда он вот уже третий день, как ни шагу, а это на авторитет не играет, вон Митька-тракторист, оставшись без напарника, без дела по поселку шастает, глаза начальству мозолит и уж подходил, справлялся, когда в тайгу собираться. Можно было бы и завтра, да опять — воскресенье, и душа еще не совсем наладилась на работу.

Глядит Федор, как бродит по его огороду осенний вечер и представляет: потрескивает сучьями костер, огонь лижет прокопченные бока чайника, отпугивает ночь, наверху сияет первая звезда, а ближе к голове шумит вершинная тайга, бормочет о своем, но понятном. Мило ему такое одиночество, ни от кого и ни от чего так не устаешь, как от людей. И уже заварен крепкий ароматный чай, и выпита первая кружка — обжигающего и вяжущего, и налита вторая. Но и это не все радости; когда выкурена папироса, подходит минута, не менее желанная, чем та, на причале. И он, сдерживая нетерпение, начинает дожидаться ночную гостью — рыжую Машку, которая на дымок непременно явится и уж, поди, прячется где-то близко, лежит на толстом суку, навострив уши с кисточками, поглядывает вниз, на него. И обнаружить ее может помочь лишь ветер-низовик: дохнет сильнее, взметнет клок пламени, отбросит отсвет на сосны — блеснут раскосые зеленые глаза и погаснут.

Лежит лесная кошка, ждет не дождется, когда Федор начаевничается, потушит костер и уйдет в зимовье, пропахшее бензином, ружейным маслом, спать.

Но сколько ни прислушивайся к шорохам за дощатой дверью, сколько ни подглядывай в щель, так и не уловишь, когда рысь, потягиваясь, сползет с дерева и, мягко пружиня на сильных лапах, подойдет к кострищу. Пока не брякнет чайник или сама не зашипит, уколовшись об уголек, спрятавшийся под тонким холодным пеплом. Нет для рыжей бестии забавы желанней, чем навести свой, одной ей понятный, порядок: раскатать кружки, миски, раскидать ложки, свалить чайник, утащить в кусты телогрейку, если забудет ее прибрать Федор. Вот ведь какая тварь строптивая!

Федор мотнул головой, смаргивая наваждение: рыжая гибкая кошка скользит по смолистому стволу... Привидется же, черт, не к ночи будь помянут. Он глядит широко раскрытыми глазами прямо перед собой и видит настежь распахнутое окно, а в нем — густую синь холодного вечера, кое-где уже тронутую искорками звезд. А зрачки еще помнят, как кружат сбитые с потревоженной ветки сухие легкие хвоинки, как мягким вкрадчивым движением трогает лапой рысь алюминиевую кружку и та, падая на бок, глухо звякает о камень. Этот ли звук привел в себя Федора или скрежетнули старые ходики на стене, спугнули видение?

Молодую рысь он встретил на просеке в феврале, когда ему подыскали новое место работы и послали не очень близко от поселка, но и не очень далеко — туда, где поспособствовал заготовителям смерч, поднявшийся с байкальской воды, закрученный баргузином до белого каления. До того как вломился в чащу и прошелся по крутому склону хребта дурной ветер, будь он неладен, никто здесь рысь не тревожил, она сама срегулировала, кому тут поселиться, а кому не жить. Потому и встретила новоселов в своих владениях враждебно: громко они пришли, испортили воздух запахами солярки и бензина. Да, по правде сказать, знакомство вышло никудышным вот еще почему. Напарник Митька взял с собой в тайгу молодого и дурного кобелька — он и расплатился за вторжение.

Непуганая рысь позволила застать ее на одинокой лесине, чудом уцелевшей после повала, подпустила на ружейный выстрел Митьку, тот торкнул по ней из одностволки да сгоряча промахнулся. Та кубарем слетела с дерева, пошла махать по глубокому снегу, утопая по лохматое брюхо. Вслед за ней рванулся прыткий кобелек, достал ее, да сдури и прыгнул. Рысь ловко перевернулась на хребет, полоснула собаку острыми кривыми когтями задних лап по животу. Пока Митька бежал на помощь, истошно визжащий кобелек оросил вокруг себя снег горячей кровью и затих, а лесная кошка ушла в чащобу.

Пролитая кровь вроде примирила зверя с людьми: они от греха подальше решили не трогать рысь, и она не задиралась. Но бедокурить бедокурила — напоминала, кто здесь хозяйка. Мало-помалу Федор свыкся с тем, что еще одна живая душа бродит рядом, а Митька, тот лишь плевался и матерился, завидев рыжий росчерк в ветвях, не мог простить себе оплошности. Он редко оставался ночевать в зимовье, все норовил попасть в поселок — гонял за двадцать километров трактор, попусту силы тратил и солярку жег. А может, не смирился со зверем Митька еще и потому, что побаивался: вдруг укараулит, вцепится в башку, зверь, что с него взять, он без соображения.

«Ох и дурной я, ведь тоже стрелить хотел ее поначалу, да хватило ума в бестолковке, будто подсказал кто — не трогай. Кошка она и есть кошка, только эта большая и в лесу живет. Я теперь ее спиной вижу, как она в сторонке ходит, ветками шуршит. Машкой ее прозвал»,— Федор прислушивается и вдруг понимает, что это себе он так ласково и доверительно рассказывает о кошке и не испытывает от этого неловкости.

Хорошо ему в тайге. Одиноко и спокойно, что почти одинаково. И водки не тянет выпить, как здесь, в поселке, где раз чекалдыкнешь — и пошло-поехало, завилась веревочка. Федор впотьмах поднимается с табурета, идет к стене, нащупывает выключатель и впускает в кухню робкий пыльный свет голой лампочки.

Чьи души обитают в его доме? Но чьи бы ни были, должно быть, не очень уютно витать им среди давно небеленных стен, когда-то не знавших известки, выскобленных до медовой желтизны, а теперь закопченных табаком и печкой. Ка-

кими скорбными глазами глядят они на постояльца, такого же одинокого, как каждая из них? Стонут ли, стенают родные души: матери да отца, если не отлетели они на далекую родную сторону, плачут о сыне, что не задалась судьба и оставила его на старости лет без подмоги, а более всего оттого, что знают горестную кончину, и не будет им покоя, пока сыновья смятенная душа не присоединится к ним, да, как знать, найдет ли и там согласие...

К старости немного осталось у Федора вещей, напоминающих о родичах, с каждым годом ломались и терялись они, а новых не прибавлялось. На кухне напротив печи стоит стол с табуретками, рядом притулился скрипучий рассохшийся шкаф с застекленными дверцами, за которыми слабо мерцают граненые рюмки, видна стопка толстых тарелок — за ненадобностью Федор не вынимает их. И в большой комнате обстановка не богатая, как было при отце и матери, так и осталось: две железные кровати, круглый стол, полупустой комод. И в самый солнечный день царит здесь полумрак, еще зимой занавесил Федор окна старыми одеялами для тепла да так и не снимает. На комоде стоят в деревянных рамочках три портрета: матери с отцом, дочки и его самого. Впрочем, свой снимок он заставил высокой коробкой из-под одеколона, и теперь на нем видна лишь часть молодого да бравого лица: кольцо чуба, шальной, веселый глаз, дерзкий ус. Трудно и представить, невозможно почти, что был он когда-то таким вот удалым, переполненным жизнью. Весь — сплошная подковырка, вот я какой, поди, жизнь, возьми меня! А ведь взяла, укатали сивку крутые горки.

В доме давно ни к чему не притрагивалась женская рука. Было время, приводил Федор сюда таких же, как он сам, одиноких баб, да все ненадолго. Не помнятся они, забывал их сразу, как только захлопывалась за ними в последний раз дверь. Ну да и то ладно, что без обиды его покидали.

У Федора дальнозоркость и чистая душа. О первом своем достоинстве он знает сам, о втором знать не может, да и подсказать некому, никто того не подозревает окрест, вряд ли где-то есть такой человек, способный на тонкое дело. Ведь в поселке к нему относятся никак. Те, кто живет для себя и семьи, а таких большинство — снисходительны и равнодушны. Те, с кем выпивает, и вовсе не утруждают себя мыслями, для чего живет на свете этот нескладный голубоглазый человек. Сторонний люд, к примеру, приезжие, и вовсе ни в жисть не разберется, отчего мужик, владея катером, ржавеющим в огороде, сетями, пропылившимися в чулане, живет без рыбы, а значит, и без длинного рубля.

Но что ему людская молва, худая или добрая, что ему пренебрежение или ласка. Федор многое через что перешагнул в своей жизни, от многого отшатнулся и ко многому приладился. А из всего этого выработалось у него достоинство свободного от предрассудков общества, в котором живет. Нет, он хорошо понимает и принимает условия, в которые его ставят люди, но не хочет заниматься тем, чем занимаются многие из его собратьев, а главное: воровать и лгать. И, упаси боже, не считает себя обиженным, убогим или несчастным человеком, хотя и позволяет это делать другим. А пусть — не убудет. Ведь для того, чтобы страдать по себе, надобно прежде испытать, что же такое жизнь хорошая. Но она как-то не заладилась, не сложилась, да и не могла, наверное, при его-то характере. Не то время на его судьбу пришлось.

Не лип достаток к их дому, когда жил с родителями, сюда высланными еще до войны, за какую провинность до сих пор не знал, говорили, за кулака деда. Тут то голод, то война, то снова голод. Вместе со всеми трудно и долго на ноги поднимались, а когда обжился народ маленько, в свои избы добро потащил, а не из них, на общий двор, померли родители. Но к тому времени уже сломилось что-то в нем, понял, что счастье не в том, чтобы много есть и досыта спать. А чем душу наполнить, куда направить, как приспособить для интересной жизни — не научился. Единственный раз, показалось, пошла его больная судьба на поправку. Когда женился, как-то с пылу с жару, да когда скоро дочка родилась. Но тут же и подкузьмила — жена недолго с мужем-недотепой мыкалась, у которого все промеж пальцев просачивалось, а больше всего день-

ги. Не выстояла, не дождалась, когда он на ноги встанет, оперится, что ли. А всего-то чуть-чуть потерпеть оставалось, он это чувствовал. Нет, подхватила дочку, чемодан с вещичками да прямиком в город, другой жизни искать, помягче, чем эта.

«Ну, да и то верно, чего мыкаться-то, жизнь, она коротка»,— сказал Федор вслух то, чего никому никогда не говорил, а в одиночестве кто подслушает? Разве что те, кто негласно и невидимо проживают вместе с ним, стоят рядом в вязкой тишине, терпят тяжелый дух избы и все его выходки. Тронул бы кто за плечо, направил, шепнул, как жить. Нет, что-то определенно стронулось в нем сегодня, расплескалось по уму и сердцу.

Федор сидит у стола и в проем двери в горницу видит ввинченное в потолок кованое кольцо под зыбку, давно покрытое толстым слоем почерневшей известки. Вывернуть бы его надо за ненадобностью, отслужило, да жалко. Жалко мальчишеской мечты, воображал мальцом, что настанет день и появится какая-то добрая сила, подденет за кольцо дом и перенесет его вместе с родителями в далекое далеко, где всем им будет жить лучше, куда всю жизнь стремились они вернуться. Так и прождал, дожил до сегодня, когда тоска облила горячим. Нет проще объяснения, чем опоганили душу иноземцы, да ведь не смертельно и не привыкать, хуже бывало, а проснулся, да и сморгнул эту хворь. Что забрало, что трясет и выворачивает? Кончилось терпение, пожаловаться ли некому?

Мысли Федора бредут по кругу, не в силах вырваться за очерченный круг. Кто так распорядился — сам ли он, — что счастья досталось ему всего с мизинец. Но если оно на земле есть и для каждого человека приготовлено, значит, и его доля была. А если было, не может же счастье исчезнуть без следа, улетучиться сквозь дыру в небе в космос. Не ушло, не растворилось в пустоте, значит, обязательно должно достаться другому человеку. И верится сейчас Федору, что приняла этот подарок от него дочурка, и с этой верой приходит облегчение. Он светлеет лицом, промокает рукавом повлажневшие глаза, освобожденно смотрит вокруг — морщины и те, кажется, разглаживаются.

Дочь для него — свет в окошке, единственный человек, к кому всегда стремится его одинокое сердце. Другому горько и гадко было бы узнать, что жена его вскорости, как покинула, вновь замуж вышла, да вроде бы удачно. А он, грех сказать, радовался этому известию, рассудив: как бы там ни было, а ребенок его чуток освободится, пока те будут собой заниматься да других ребятишек рожать. И сможет сюда, в поселок, к родственникам жены приезжать и, значит, к нему.

И ведь упросил как-то одну из родственниц в письме высказать эту просьбу, как бы от нее, а потом и съездить — привезти дочку. Месяц на разных работах горбатился без выходных, зарабатывал деньги ей на поездку. И все верно рассчитал: не встретила там его посланница сопротивления. С тех пор через год да каждый год навещала его дочурка Настя и хоть недолго гостила, не у него жила, а очень сердце радовалось. К приезду ее наводил Федор в избе капитальный порядок: белил, красил, полы выскребал, просил соседку белые занавески на окна сшить. К милому и редкому празднику готовился.

Оживало все вокруг Федора в такие дни, пока топала ножками по поселку его ненаглядная, не возникало мыслей, что с собой, как занять, куда душевные силы приложить. Вот только выросло счастье его, повзрослело, последнее время не навещает. А может быть, мать наладила ее в другую сторону, рассказывала, маленькая да доверчивая, как ее папка там встречает. Если так, то и верить ни во что не хочется: прикипело сердце, не хочет соглашаться с тем, что последняя надежда оставила.

— Теперь одна рысь Машка у меня осталась, боле никого, — охолонул он себя беспощадными словами и в последний раз думает, где бы достать ему в эту позднюю неудобную пору выпивку. Жизнь пуста, выжжена, пропаща и мрачна. Он долго думает, не желая мириться с распахнутой бездной одиночества, и заключает: — Надо идти в тайгу, там мне спасение, пить там нечего, от питья плохо мне.

Пришла промозглая осень. Сезон

штормов. Прошлой ночью разыгрался первый и отозвался сумятицей в душе, дальше будет хуже. Старым стал Федор, чутким на погоду. Голова еще побаливает, но не так чтобы очень. В окно дышит холодом беспросветная ночь, и он плотно закрывает створки. Выключает свет, на ощупь идет в горницу, вытянув перед собой руки, натыкается на кровать, и не раздеваясь падает поверх одеяла — никаких сил не осталось после трудно прожитого дня. Но засыпает сразу. Во сне Федор часто вскидывает всклоченную голову, громко бормочет, а иногда явственно пересказывает дневные разговоры. Трудно спит человек.

3

Робкому солнцу и вовсе не пробиться сквозь черные одеяла, занавесившие окна в горнице. А оттого Федора будит не яркий свет, а стук щеколды во дворе, торопливые шаги в сенях — двери на ночь он забыл запереть. И кого это в такую рань принесло? Федор торопливо встает и какой есть — помятый, взлохмаченный, смутный — идет на кухню. У порога стоит сосед Иннокентий, смолит папиросу и весело по-утреннему скалит прокуренные зубы:

— Морду хоть сполосни, смотреть жутко, так в ухо и вцепишься.

— Да ладно тебе, — отмахивается Федор,— успею еще, какие наши годы.

От одного вида всем довольного соседа и у него поднимается настроение, понимает: раз пришел, значит, есть дело и кому-то он еще нужен. Ковшиком черпает из ведра воды, наливает в чайник и ставит его на электрическую плитку.

Сквозь оконное стекло в кухню льется призрачный солнечный свет, освещает неприбранный заляпанный стол, давно не мытый пол, печку в черных дождевых подтеках сажи. Федор гремит в углу умывальником, не обращает никакого внимания на такие мелочи жизни. Умывшись, высовывается в окно и ничего нового там не видит: пустой огород, у забора ржавеет катер, за забором крыши домов, над крышами заметны далекие синие хребты, над ними клубятся тучи.

— Стаканы бы, что ли, ополоснул, — ворчит сосед, устраиваясь на табуретке.

— Вот пристал, — лениво бормочет Федор и вдруг оживляется, обратив внимание на оттопыренный карман соседа, который до этого умело прятал гостинец. — Вот дела! Кеша, да ты не один! Сельсовет у тебя и по воскресеньям работает, — стучит он себе пальцем по лбу и начинает энергично двигаться по кухне.

Сонное состояние слетает с него, как шелуха с пересохшей луковицы, он возбужденно суетится, льет теплую воду из чайника в большую миску, споласкивает в ней стаканы, вытирает их полотенцем, с готовностью ставит на стол. Но спохватывается и той же тряпкой смахивает за подоконник раскрытого окна табачные и хлебные крошки, другой мусор. Все это занимает у него не более трех минут — все, стол готов. Последнее неуверенное движение он делает у шкафа и виновато разводит руками, в них две луковицы — извини, закусить больше нечем.

Сосед Кеша извлекает бутылку и важно лезет в другой такой же необъятный карман, выкладывает поочередно: пару вареных яиц, желтый шматок сала, горбушку хлеба и подмигивает Федору.

— Ну ты даешь, Кеша, — восхищенно и чуть виновато говорит тот и тут же забывает о своем восторге, звенит в нем одно величайшее нетерпение. — И как ты в такую рань от своей ушел? — тут он подсекает голос, круглит глаза в веселом ужасе. — Не укараулила?

— А я задворками, задворками, — смеется вполне счастливый в это воскресное утро Кеша и открывает бутылку.

Тот, кто хоть раз в жизни пивал водку натощак, может представить, как оживает человек, правда, для этого надо быть таким, как Федор, проснувшимся, уставшим насмерть. Федору эта процедура давно знакома, он выпивает, ждет, когда отмякнет душа, и припоминает:

— Постой, Кеха, так ты же должен в городе быть, позавчера еще уметелил, чего рано вернулся?

— Удачно обернулся. Туда проскочил, главное, с мешком рыбы, ни один пост не зацепил. Ну а в городе за полдня ее продал, ты ж меня знаешь. Дело техники. Голодный нынче город, о цене не спрашивают, старушки разве.

— Ловко, — поддакивает Федор, довольный завтраком.

— Обратно потемну уже возвращался, припозднился. Смотрю: пост у моста через речку. Шерстят каждого встречного. Белую «Волгу» прихватили, потрошат троих парней. Видать, городские попались без царя в голове — ну кто же в багажнике омуль прячет? Дурни. Да еще и пьяные, ну милиция раскрутила их на полную катушку. Я остановился, полюбопытствовал: крепко вляпались, по червонцу за хвост нынче штраф. Съездили, называется.

Федор молчит, в голове тукают тяжелые молоточки, вспоминается вчерашний дурной день. Он задумчиво жует прогорклое сало, с хрустом разгрызает луковицу и спрашивает без всякого интереса:

— Трое? В кепочках. Шустрые такие?

— А ты что, их знаешь? — любопытствует Кеша.

— Виделись, — скупо отвечает Федор, не испытывая никаких чувств.

Ум его быстро трезвеет, а он себя знает — после третьей порции встанет нараскоряку и тогда может забыть о деле. Федор отодвигает стакан маленько от себя, смотрит на Кешу твердыми и ясными глазами, решительно спрашивает:

— Так ты вроде по делу ко мне? О чем-то мы с тобой как-будто договаривались, а из башки вылетело. Не помню, что обещал, после вчерашнего голова дырявая...

Приходит черед смутиться Иннокентию. Перед кем другим сконфузиться было бы неловко, а с бобылем чего ему делить? И он басит не под разомлевшее настроение:

— Ты ж обещал в воскресенье мне площадку во дворе забетонировать. Я уж материал приготовил, развести только осталось. Но ты в этом соображаешь получше меня. Да там делов-то всего на полдня. Сам знаешь, радикулит проклятый замучил меня, холера возьми рыбу эту, все равно всю не выловишь.

— А-а, — тянет Федор и облегченно вздыхает: дело не бог весть какое, больших мозгов не требующее, но попотеть придется, — это я в один момент исделаю, — и берется за стакан.

Теперь, когда работа обговорена, бутылка быстро опорожняется и сосед уходит готовить двор. У Федора есть еще полчаса на то, чтобы бездумно и расслабленно посидеть за столом. Невидящими глазами смотрит он на огород, в какой уже раз отмечает, что так и не посадил нынче ни куста картошки, и упрямо заявляет: «Ну и черт с ней, с голоду не помру». Потом переводит глаза на катер, приваленный к забору, и добавляет: «А этот на металлолом пионерам отдам». Над скалистыми хребтами крутятся тучи, но с ними Федор поделать ничего не может.

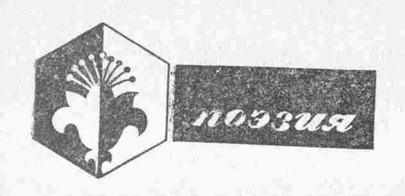
Тягостный вечер вспоминается, как дурной сон, остатки которого еще не выветрились и бороздят сердце. Но как ни странно, ночь очистила место в душе для чего-то хорошего, что еще поискать нужно и себе взять. Обо всем этом он смутно догадывается, наверное, это тот, другой, кто в Федоре прячется, подсказывает, нашептывает, пытается вразумить. Но хмель помогает загнать его в самый угол сознания, и там он, обиженный и растерянный, хоронится от такой горькой к себе несправедливости — вот только собрались зажить по-человечески, а тут Кеша с бутылкой.

Федору лень идти на улицу, ладить соседу двор, что-то удерживает его от работы, и он думает, что это — воскресенье. Но и сидеть так, без мало-мальского дела, не может, поднимается, наливает в стакан крепкого черного чая, обжигаясь, пьет и отмечает очевидное: на деляне не был уже три дня, не считая выходного, давно свою рыжую кошку не видел и вроде обещал себе больше не пить. Совестно и тревожно щекочет в груди, но не так, как вчера вечером. Федор решительно отставляет пустой стакан, снимает с гвоздя потрепанную кепку и выходит за дверь, терзаясь мыслью, что вот не удержался спросонья, неладно день начал. Хоть каким-то делом надо замолить грех, успокоить растревоженную душу.

Во дворе по-осеннему свежо, пахнет морем и последними запахами увядшей травы. Над крышами соседских домов густо вьются горластые чайки, и Федор пытается определить, кто из мужиков нынче ночью вернулся с уловом, засекает и складывает про запас — авось пригодится.

И когда он так неторопливо идет по двору, в голове у него мысли соединяются, четко вспоминает Федор, что за бетонную работу Кеша посулил выставить еще бутылку белой, а она у него наверняка не одна, раз из города вернулся. И дело это он знает крепко, сварганит быстро. Он широко улыбается себе, и вовсе отстают от него сомнения. Все ясно и понятно, как это новое, пока еще ничем не замаранное утро.

Александр Михайлович Семенов родился в 1954 году в Читинской области. Окончил факультет журналистики Иркутского университета. Работал заместителем редактора газеты «Советская молодежь». Печатался в «Сибири» и коллективных сборниках. Участник Всероссийского и Всесоюзного совещаний молодых писателей в Москве.





Зоя Горенко

ВОПРОСЫ

УЗНИК

Над головой в окошке малом
Всегда сияли небеса.
То голубым, то нежно-алым,
То цветом спелого овса.

А то в окошке клокотало,
Носились всадники пред ним —
То в синем, то в кроваво-алом
Сквозь белый дым и черный дым.

А по ночам в окошке тесном
Во всей красе своей небесной,
Из черной, мрачной дальней дали
Звезда веселая сияла.

А за далекою звездою
В густом тумане и пыли
Миры иные чередою
Все шли и шли, все шли и шли...

И вот ни дня, ни тьмы не стало,
Ни глупости и ни ума:
Пред ним струилась и сияла
Душа бессмертная сама!

. . . .

Так он стоял блаженно-мудрый,
Как белый куст среди зимы,
Когда узнал, что нынче утром
Открыли настежь дверь тюрьмы.

И он к окошку прислонился,
Вздохнул и с табуретки слез,
Как бы воистину спустился
На землю грешную с небес...

ВОПРОСЫ

Воспевший и стычки и смычки
Надменным и чувственным ртом,
Что, бедный советский язычник,
Лепечешь о Духе Святом?

О чем голосит непрестанно
Две тысячи лет напролет
Не ведающий покаянья
Несчастный и страшный народ?

Не страхом ли совести куцой
Под ливнями крови и слез
В терновом венце революций
В России расстрелян Христос?

Чего же ты снова боишься?
Что правды возжаждавшим ртом
Поведать о мире стремишься?
Что знаешь о Духе Святом?



Сижу да сижу на скамье я,
Все тешусь и тешусь звездой.
И вербой под ней молодою,
И синей под вербой водой.

И снова — на дне под водою —
Глубокой, глубокой звездой,
И вербой под ней молодою,
И жизнью своей молодой.

□ □ □

У женщины мужские руки,
И грубый ватник, и штаны...
Я не могу смотреть без муки
На эту гордость всей страны.

Ее сегодня поощряли,
Вручали звонкую медаль.
И кулачища робко мяли
С плечищ сползающую шаль.

Аплодисменты оглушили...
Чему они посвящены?
Вот этим толстым серым жилам,
Надрывной гордости страны?

БАЙКАЛЬСК

1

И мне над ухом пело время
Почти романсы
О дымных дебрях, где деревья
Зовут балансом.

Где их в котлах глубоких варят,
И травят хлором,
Где в людях труженик и варвар
Сошлись позорно.

Где я стихи себе писала
Почти о космосе
На фоне смертного Байкала
И вечной пошлости.

2

Виденье дантовского жальче:
Веселый строй погибших душ.
И ты, хлорированный мальчик,
Я удивляюсь, — чей-то муж.

Ты любишь спорт по воскресеньям.
Слежу с тревогой за тобой:
Вдруг растворишься ты в бассейне
С такой же хлорною водой.

Никто тому не удивится,
Наука все-таки права:
«Процесс естественный, химический», —
И тем утешится вдова.

...Ужасный хлад меня объемлет,
Дохнув из недр небытия:
Где я? Кто я? Откуда я?
Как возвратиться мне на Землю?

ЖИМОЛОСТЬ

Где жимолость глядит на дно оврага
Туманными глазницами ночей,
Прямая и тревожная, как шпага,
Лежу я на мосту через ручей.

Созвучиями, полными значенья,
Природа все соединяет в грусть:
И ритмы сердца, и ручья теченье,
И синий-синий жимолости куст.

Вот сердце сжалось, вот опять забилось.
В названье дивном явственно слышны
И жизнь и смерть, и таинства, и милость,
И пустота, и жалобы, и сны.

Но вот деревья разом закачали
Свои стволы, и птицы взмыли ввысь —
Туда, где — Бог. И все мои печали
Восторгом с ними в небо унеслись.

...Я знаю, слов и чувств высокопарность
Душе людской, бежавшей суеты,
За боль и стыд, за страх и благодарность
Простят ручьи, деревья и кусты.

Удел восторга — жить одно мгновенье:
Возвысить, потрясти, но — не унять...
Я опускаюсь молча на колени
Пред жимолостью горькою опять.

И тихой мне, коленопреклоненной,
Доверчивою, жалобной струей
С куста слезами льются на ладони
Лекарственные ягоды ее.

...Жизнь. Милость. Дар.
Какой еще подмоги
Нам жаждать там, где целый свет — родня?
Мою судьбу во всем доверив Богу,
Ты прав, мой друг. Не бойся за меня.

Зоя Ивановна Горенко родилась в 1956 году в селе Шейковка Боровского района Харьковской области, в крестьянской семье. Училась в Киевском государственном университете, а затем заочно — в ИГУ. Работала в районной газете на Украине, приехав в Сибирь — жила в Ангарске, Слюдянке, Байкальске, два сезона работала в геологической партии в Саянах. С 1984 года — корреспондент Иркутского областного радио.



Имя Василия Бутовца знакомо нашим читателям по рассказам, которые были в свое время опубликованы на страницах альманаха «Сибирь» и журнала «Сибирские огни», а также по увидевшему свет в Иркутском издательстве роману «Лейб-гвардия ее величества тайги».

Лесник по образованию и многолетнему опыту работы, он рано начал писать, но лишь многие годы спустя после первых литературных опытов решился показать свои работы в Иркутской писательской организации. На конференции «Молодость. Творчество. Современность» (1983), в которой В. Бутовец участвовал, будучи значительно старше своих коллег по секции прозы, его рассказы заслуженно удостоились диплома и премии. А четыре года спустя эта оценка была подтверждена выходом романа, получившего благожелательные отклики прессы, а затем и премию ВЦСПС за лучшие книги о рабочем классе.

Прекрасно зная тех, кому доверены охрана и приумножение сибирских лесов, каждодневно по основной своей работе сталкиваясь с многочисленными проблемами, порожденными бестрепетной ведомственностью и своекорыстием, ведущим не только к обнищанию хозяйственному и экологическому, но в конечном итоге и к обнищанию нравственному, В. Бутовец талантливо рассказывал о них на страницах своих произведений — метких, образных и неравнодушных.

Он скоропостижно скончался летом минувшего года, до последнего мгновения каждый свободный час отдавая литературной работе. Его кончина была с болью воспринята в Иркутской писательской организации, куда он вошел уже сложившимся литератором со своим кругом тем, со своими взглядом и почерком.

Повесть, которую мы сегодня предлагаем вниманию читателей, была последней, над которой работал Василий Дмитриевич Бутовец. В ней писатель, казалось бы, отошел от привычных тем, хотя и она посвящена нравственным проблемам времени, хотя и в ней читатель найдет прекрасные главы о сибирском лесе, его обитателях, о человеке в лесу, куда он приходит не всегда как друг.

Над повестью В. Бутовец работал до последнего часа, и, если в ней остались страницы недописанные, беглые,— не будем за них сурово винить автора, у которого не хватило жизни довести их до конца. Никто не знает срока, отмеренного ему на земле.

РЕДКОЛЛЕГИЯ



Василий Бутовец

ПОВЕСТЬ

ПОТЕХА

Из дома вышли затемно. Поздний зимний рассвет догнал их уже далеко от деревни. Над Дабаном в малиновых красках являлся новый день. На чистой глади рядом с горбатым силуэтом горы, легкие мазки тучек. Воздух из черного превращался в сине-розовый. Мороз жалил нос, щеки, уши. Дышалось неглубоко, но наполненно. Утренняя лень и сонливость отставали, сменялись радостным нетерпением поработать.

Алексей шел впереди спорым шагом, как всегда решительный, быстрый. Мосалов старался не отставать. Дорога кончилась. Надели лыжи. Пошли по редкому березняку. Лыжи уходили в снег глубоко, мягко. Алексей прокладывал след. Мосалову было легче. Из сиреневых су-

мерек белыми сугробами возникали ели, призрачные контуры берез. Над всем — темный горб Дабана со снежной светящейся вершиной. Рядом Безымянная, Кухша. Другие сгрудились вдоль долины.

Шли молча, только лыжи шуршали. Сквозь морозную свежесть до Мосалова долетал винный перегар Алексеевого дыхания. Остановились. Курить было нельзя, но Алексей не удержался, закурил и следы увидел. Свежие. Только что прошли. Поманил Мосалова.

— Только что,— прошептал, пуская дым в сторону. Посмотрел в глаза — понимает он его или нет. — Давай без шума. Я постараюсь забежать вперед. Ты погоди здесь пока, не торопись.

Бросил папиросу, втоптал лыжей в снег, побежал.

Мосалов прислонился к березе. Сумерки таяли, уползали в чащу. Воздух очищался, светлел. Снег покрылся розовым налетом. От деревьев простерлись синие тени. Вверху разгорался день. Над горами шевелилась солнечная корона. Шуршание лыж вскоре затихло.

Вот оттуда, с Дабана, они спустились тогда с Олегом в эту долину. Не легко было, испытывали себя. Проводник вывел на тропу, сказал: «Так пойдете, долина будете». Хорошенькое дело — «пойдете, будете». Идти пришлось трое суток. Аппараты, ружья, продукты, шкуры, что подарили аборигены (они бы подарили, если бы не его сноровка в этом деле), — все пришлось тащить на себе. Запомнился этот выход. Два хребта перевалили. Изюбря подстрелили, но ушел. Олег возмущался: зачем стрелял? Пропадет ведь! После Мосалов и сам понял, не было смысла, но удержаться не мог, уж больно близко подпустил.

При переходе через Чумчу Олег поскользнулся и свалился в воду. Глубоко. Вода бешеная. Кое-как выловил и Олега и вещи. Просушились, пошли дальше. А если бы ногу подвернул или сломал, тогда что?

Тяжелый был переход. Гнус заедал. Но и материалец стоящий собрали. И потом здесь, в Кырме, семья Семеновых. Старая сибирская семья. Мосалов сразу сообразил, что из этого можно сделать. Три семьи под одной крышей. Отец погиб на охоте, во главе женщина, мать.

На самом деле старик просто умер по болезни, сыновья жили отдельно, своими семьями. Но кто это будет проверять? Зато читается такой материал, подработанный, интереснее, запоминается и редактором поощряется.

В этом Мосалова заслуга. Олегу в голову бы такое не пришло, Олег все за правду ратовал — никаких прикрас. А что из нее, из правды, если она скучная.

Пора идти. Уже полностью рассвело. Солнце полилось в долину. В ней всегда до краев солнца. Оно течет светлой рекой. Горы не дают ему выплеснуться.

Долина вначале широкая, постепенно сужается, стесненная предгорьями. Вершины белеют вдали вечными снегами.

След косулей путался среди редкого леса — искали корм. Невысокое плато кончилось, перешло в падь, в калтус. Еще не доходя до конца его, Мосалов увидел то, за чем шел. Две косули паслись на расстоянии полутораста метров под широкой, без вершины елью. Дерево стояло на чистом месте. За ним начинался ерник. Широкие густые ветви приняли на себя всю тяжесть снежных сугробов, под елью темнело бесснежное пятно.

Увидев животных, Мосалов остановился и поспешно снял «Белку»: далековато, стрелять бессмысленно. Надо попытаться подойти ближе.

— Куда ушел Алексей? Не туда он подался. Будет напрасно ждать. А то ведь, кто знает, они могут куда угодно броситься.

Осторожно, по возможности бесшумно, от дерева к дереву, наполовину хотя бы сбить расстояние.

Не новичок он, а волнение сдержать не может. От напряжения в глазах то сумерки, то ясный день.

Но вот уже кажется и стрелять можно. Одна подняла голову, прислушивается. Дальше идти опасно. Успокоиться. В ушах шуршит тишина. И звон — тоненькая ниточка, еле слышно. Сильные толчки крови. Главное — унять дыхание. Квадрат мушки, что торчит в канавке планки, плавает возле силуэта той косу-

ли, которая подняла голову,— чтоб не сторожила!

Дыхание на замок, всему сковаться! Только сердце приглушенно бьется.

Не выстрел — щелчок.

Как кузнечики на солнечной поляне, разлетелись в разные стороны косули. Одна глубже ушла в снег, вроде споткнулась. И все... Как их и не было.

Мосалов перезарядил ружье. Смазал! Но в любом случае надо посмотреть, как легла пуля. Пошел к ели.

Все было истоптано. Долго ходили. Вот одна улетела метров на семь. А вот та, по которой стрелял. Глубокая яма. Дальше ерник, снега больше и прыжок короче. Ага! И кровь есть. Значит, попал.

Мосалов пошел по следу. Косуля уходила по калтусу, ерником. Снега здесь набило много. Кровь то появлялась, то исчезала, — и так же то появлялась, то исчезала надежда. Он шел и шел. Тяжело, сразу вспотел. Лыжи в мягкий снег проваливались глубоко. Но ей тоже достается. Долго она, если серьезно раненая, не протянет.

Отличная нагрузка! Сердце работает, как на тренировке: напряженно и ровно. Ему нравятся такие нагрузки. В эти моменты чувствуешь себя мужчиной.

Где же Алексей? Куда он подался? Если бы угадал направление, она могла бы на него выйти.

Ерник сменился таким же густым ельником — не продерешься. Задетые ветви, вздрогнув, сбрасывали на Мосалова сугробы снега и, освободившись, распрямлялись.

Раненый зверь прячется в чащу, обиженный человек ищет уединения.

...Ничего не изменилось вокруг, но она почувствовала тревогу. Подняла голову, стала прислушиваться. Все спокойно. Серый рядом хрустел мерзлой травой. Но что-то было. Она почувствовала опасность. Где только, откуда ее ждать?

И вдруг толчок. После прыжка нога передняя подломилась. Заметила в последнее мгновение, как Серый легко уходил в сторону. Погони не было, значит, человек. Это опаснее зверя.

Последние прыжки были короткими и беспомощными. Нога бессильно болталась, она валилась на правую сторону. Сердце испуганно билось, работало на пределе. Скорее в лес, в чащу. Уйти, уйти, уйти. Глубокий снег принимал мягко, ласково.

Мосалов настойчиво продирался сквозь чащу. Лыжи все ж держали. Без них он бы по грудь утопал в снегу.

Почему-то крови стало меньше. Похорошему, по всем правилам охоты ее надо оставить. Она, не почувствовав погоню, ляжет. Раненое животное всегда ложится. Потеря крови ослабит. Завтра с собаками или так по следу легко можно найти. Но ему надо завтра уезжать. Он приехал только на пару дней. Соскучился по сыну.

Ерник вскоре кончился. След вывел его на открытое место, повернул во взрослый лес. По взлобку вверх и опять на плато, под уклон.

Кровь попадалась только изредка. Нет-нет да и закровит. В лесу снег мельче, чем по калтусу, — идти легче.

Куда подался Алексей?..

...Алексей. Он один отнесся тогда с подозрением, недовольно, насмешливо.

Они зашли в первый попавшийся дом. Застолье было в полном разгаре. Во главе стола Матрена Сидоровна, хозяйка дома, два брата с женами, с детьми. Женя встретила их: «Я же говорила гости будут — ножи падали».

Глядя на нее, беззаботную, веселую, никогда не подумал бы, что у нее двое детей и, как потом выяснилось, от разных отцов.

Не слушая возражений, их усадили за стол. Запретили посылать за вином: праздник. А кто попадает на праздник— гость.

С усталости они быстро захмелели. Дальше он плохо помнит. Его несло. Он плел дикие истории о переходе, который они с Олегом проделали. Все смеялись, не верили. Потом фотографировались, потом пошли в гости к родне. Он побрился, надел чистую рубашку. Присутствие Жени придавало празднику особый интерес. Он ловил на себе ее взгляды.

Серка быстро устала, силы оставляли ее. Хотелось лечь, отдохнуть. Останови-

лась, чутко прислушалась. Тот, кто ее преследовал, хотя она его и не видела еще ни разу, чувствовала — идет следом.

Надрывно стучало сердце, дрожали ноги. Опустилась у дерева, оглянулась еще раз и на мгновение смежила веки. Повисла красная темнота. Из такой красной темноты она и появилась на свет. Мать облизывала ее и, придвигаясь, согревала своим теплом. Серка пыталась поднять голову, оглядывалась вокруг удивленно и снова роняла. А мать лизала и лизала. Было прохладно, неуютно и интересно. Снова и снова старалась увидеть, что там за спиной матери и вокруг.

А когда встала на ноги, мать вскочила рядом, прислонившись, поддерживала. Мир, в который вступила Серка, покачивался и плыл куда-то — зелено-голубой мир. Ноги нерешительно переступали, искали равновесия. Она сделала первые шаги, оторвавшись от матери, и почувствовала, как радостно и весело забилось сердце. Жизнь! Закатное солнце, волосатое от лучей, кололо глаза. Тепло его она почувствовала сразу. Оно было суше, чем тепло матери, но такое же ласковое, как материнское. Стояла, уставшая от первых шагов, и то открывала, то закрывала глаза. И весь зелено-голубой мир, пронизанный желтыми лучами теплого солнца, то появлялся, то исчезал.

Потом Серка обходилась уже без матери, хотя та не отступала от нее. Серке хотелось все посмотреть, все обнюхать, дотронуться. Но мать не пускала ее с того места, где в чаще ерника — не продерешься — она родилась.

Пришло время, тонкие ноги Серки окрепли. С каждым днем, с каждым часом вливалась в них новая и новая сила. Вскоре она, как мать, не задумываясь, сигала через ручьи, стволы сваленных деревьев.

Так. Вот и лежка с кровью. Значит, сдавать стала. Теперь можно не торопиться. Чем дольше она полежит, тем быстрее он ее настигнет.

Мосалов сбил снег с пня, снял рукавицы из собачьего меха, постелил, сел. Прислонился спиной к стволу сосны. Глаза ослепило солнце. День наполнился светом, как шар воздухом, вот-вот лопнет. Конец января. Чувствуется едва уловимое дыхание весны.

От пригретого в затишке кусочка коры, что обронила старая лиственница, скользнула вверх прозрачная струйка тепла, стеклянная морозность воздуха вздрогнула, сместились стволы деревьев, преломились темные нити кустов, зашевелились перед глазами. В морозной суши появились запахи мха, прелой древесины, бальзама закостенелых смол, зеленых ягодников — начал завариваться таежный чай!

Солнца заметно прибыло — на снег больно смотреть.

...В магазин, в соседнюю деревню их привез Колька, сын Ивана. Женя сидела в люльке мотоцикла. Мосалов выходил из магазина, нагруженный бутылками, смотрел на нее и улыбался. И вдруг запнувшись, чуть не полетел с крыльца. Одну бутылку уронил. Она разбилась, хрустнув, как спелый арбуз. Подняв глаза, увидел смеющуюся рожу высокого парня. Сзади заметил еще одного. Страху не испытал, напротив, благодарил весельчаков, что они представили ему такую возможность. Везло.

От мотоцикла бежала Женя, что-то кричала и махала руками. Он молчал. Парни смеялись.

Передал бутылки подбежавшей Жене и немного театрально, подчеркнуто спокойно развернул ее, подтолкнул с крыльца, чтоб не мешала.

Их только двое, это он успел заметить.

Сильным коротким ударом, молниеносным, как на тренировке по груше, свалил высокого с крыльца. По правилам, не ниже пояса. Ах какой это был удар! Кто занимался боксом, тот знает: как для певца хорошо взятая нота, в которую он легко и непринужденно вкладывает всю силу голоса, так для боксера хороший удар, в который он вложил всю мощь тела — высочайшее наслаждение!

Он не смотрел, как падал парень. Вполуоборот поставил себя против его друга. А тот от удивления раскрыл рот, настолько все было неожиданно. Но опомнившись, все же двинулся на Мосалова. Только одного обманного движения

было достаточно, чтобы отвлечь этого олуха, в следующее мгновение он уже лежал на крыльце.

На все это смотрела Женя. Все было, как в кино: зло наказывалось на глазах.

Он спустился с крыльца. Всего три ступеньки, но для него это была Потемкинская лестница. Не оглядываясь, подошел к мотоциклу. Парни поднимались. Они еще не пришли в себя. Высокий, опершись руками об угол магазина, качая головой, блевал.

Женя удивленно молчала. Смотрела то на парней с презрением и жалостью, то на него с недоумением и восторгом. И еще что-то промелькнуло тогда в ее взгляде, что он запомнил и не ошибся. Она восхищалась им.

В его отсутствие рассказала о драке. Мосалов сразу понял это. Все посматривали на него с интересом. Стали относиться так, как он привык, чтобы к нему относились. Олег не без зависти заметил: «Делаешь успехи».

А ночью, когда все легли спать, они встретились. Мосалов не говорил, есть ли у него жена, Женя не спрашивала. И он не интересовался ее прошлым. Им было свободно и хорошо, как бывает хорошо людям в их возрасте.

Он обещал приезжать.

Мосалов невесело вздохнул: жена о чем-то догадывается.

...Их тогда привел Олег. Тоня и Лена. Тоня с открытой улыбкой, живая, готовая в любой момент ответить на их с Олегом бесконечные шутки. Лена больше молчала, демонстрировала свои «поразительно» красивые глаза. Игра заключалась в том, кому кто нравится. Иногда случалось, что им нравилась одна и та же. Тогда Олег уступал. Олег всегда был на втором плане. Лена «работала» глазами. Тоня, казалось, не задумывалась, нравится она кому или нет. Тонкая тактика! После он это понял. Он остановился на Тоне. Остановился легко — не жену ведь выбирал, подругу. Бывало на один вечер всего. Вышло — остановился на жене. Так получилось, они привыкли друг к другу, понимали друг друга, дополняли. Вскоре свадьба. Ее родители его устраивали: отец в высоком звании, одна дочь у них.

Тоня никогда не признается, но он уже давно утвердился в догадке — она делала аборт, когда-то, до того, как сошлась с ним. Никто ему об этом не говорил, но где-то, из чего-то он заключил, и теперь это его твердое убеждение. Поэтому она и родить не может.

Дочку, которую они по настоянию матери взяли из детдома (и он в то время дочь хотел, как будто чувствовал, что сын у него еще будет), он не любит — чужая она.

От движения воздуха, от напряжения ли, набежала слеза, потускнело, расплылось. Достал платок, вытер, высморкался осторожно.

Но где Алексей? Куда он упорол? Скорее бы кончать это дело. Не хочется сидеть, ждать. Январский день не такой уж длинный. Солнце не заметишь, как скатится. В темноте придется выносить. Надо торопиться.

Остывшая одежда холодом обожгла тело. Так и простыть не долго.

Серка очнулась от дремы. Чутким ухом и тем чувством, которым чувствуют только животные, уловила его приближение. С трудом поднялась. В глазах потемнело. День ушел. Его сменила красная ночь. Это продолжалось мгновение, потом посветлело, и она уже ковыляла дальше. Прыжки стали еще короче. Ноги плохо слушались. Иногда отталкивалась сильно, но ничего не получалось — жалкая потуга. Шла. Усталость клонила к земле. Сочилась и сочилась кровь. С кровью уходили силы.

Отдыхать приходилось все чаще. После отдыха чувствовала настойчивое приближение человека.

...Последнее время мать стала беспокойная, нетерпеливая, прислушивалась к чему-то, нервничала. Убегала и опять возвращалась. Прежней ласки и внимания к себе Серка уже не встречала.

Начинался гон.

На закате и лунными ночами слышались призывные всхрапы самцов. Мать отвечала. Голос самца настойчиво звал. Мать беспокойно вздрагивала и нетерпеливо порывалась туда, к нему. Что-то удерживало ее. Несколько раз возвращалась, нервничала. Но шла. Серка плелась сзади. Сумерки сгустились, из пепельной туманности выкатилась над ле-

сом огромная луна. Тусклый лиловый свет разлился мутными потоками.

Грянул выстрел. Серка прыгнула в сторону. Еще несколько стремительных прыжков, полных сил. Встала. Слушала.

После взрыва-выстрела — бездонная тишина. Уловила треск сучьев под чьими-то поспешными шагами. Предсмертный храп матери. Долго стояла, настороженно слушала, как сопит и кряхтит кто-то. Не понимала, не верила, что осталась одна.

Тоскливо и страшно было первое время. Держалась глухих мест. Вскакивала и бежала от мышиного шороха. И тосковала. В этом огромном, наполненном солнцем мире, усаженном деревьями, ей казалось, что осталась одна. И враги. Они подстерегали ее за каждым кустом. Кружила около тех мест, где исчезла мать.

Потом пришла зима. Как-то встретилась с семьей, которую водила старая косуля. Принята была ими.

Такие же серые, как она, игривые, охраняемые матерью.

Постепенно забылось горе, прошла тоска. Зиму провели вместе. Старая косуля, хитрая, осторожная, знала безопасные переходы. Учила молодежь.

А весной снова разбрелись кто куда. Серка подружилась с двумя косулями, так и ходили табунком.

Весна — праздник жизни. Весной не так опасен человек. Весной легче уйти от зверя. Весной много корма. Молодая трава сладкая, сочная. Паслись на лесных лужайках. Днем лежали на солнце, дремали. Это были лучшие дни ее жизни. Чувствовала, как наливается тело, как становится стремительным, неутомимым бег.

К концу лета начался гон. Все подались в глубь тайги, вверх, где безопасно. В предгорьях Дабана, откуда видна вся солнечная долина, подарил ей Серый новую жизнь...

Чаще стала ложиться. Уже не прыгает, идет ходом. Значит скоро конец. Но и времени прилично — три часа. Алексея все нет. Только бы не закружиться, попасть обратно в Кырму. Сейчас все видно. Могуче синеет Дабан сквозь кроны деревьев. А ночью все это скроется. По Полярной звезде придется ориентироваться.

Надо наддать, скорее к финишу!

Чего уходить? Все равно не уйдет. И сама мучается и его мучает... И все так в жизни — все норовят уйти от судьбы. Куда денешься?!

...Второй раз Мосалов приехал доделывать материал. Тогда в праздник из-за общего веселья они с Олегом многое упустили. Да и не верили, что может что-то получиться. Олег особенно. Оказалось, следовало поработать.

К этому времени с Олегом у Мосалова наметилась размолвка. Олег уже бредил Москвой.

Они равных способностей. Но Олег с кем-то сошелся, кто его так сильно «подсадил» вверх, Мосалову он в этом не признался.

Встретили его здесь как родного. Охотно отвечали на вопросы, позировали перед фотоаппаратом, радовались фотографиям, хотя они и получились плохо.

Только Женя была грустная. От той, которая предстала перед ними первый раз — веселая, бесшабашная, — не осталось и следа. Ему даже казалось, что-то она хотела сказать, возможно касающееся их двоих, но воздержалась. Уехал он с тревогой, от которой не скоро отделался.

А потом заглянул только через полтора года. Не близко ведь. Да и чего ради часто ездить? Женя? Сколько их прошло в его жизни.

Заехал случайно, охота на лис завела. Друга он тогда пригласил, Костю. Ехали по долине. Дорога черной лентой бежала по середине. От нее по обе стороны до неровного увала гор — белая гладь. Все полыхало светом. Солнца было столько, что ломило глаза, захлестывало до черноты. Снег, как зеркало, отражал лучи. На слепящей глади клочки вытаявшей соломы, темные точечки бурьяна. Воздух струился, дрожал. Бурьян и солома шевелились, и они часто принимали их за лисиц. Сто с лишним километров проехали и не увидели ни одной. Костя недовольно ворчал. Мосалов отмалчивался. Он уже понял: никакая не охота (в это время у лис начи-

нается линька), что-то другое тянуло его сюда, к Семеновым.

Как только зашел в избу, увидел Женю. Она стирала, наклонившись над ванной. Грязная вода, полная ванна белья. Рядом на табуретке горка отжатого. Измятая кофта в желтых влажных пятнах расстегнута, видна потная грудь. Пряди волос, выбившись из-под косынки, прилипли к мокрому лбу.

«Тоню бы так заставить, — подумал тогда Мосалов, — она бы быстро к отцу убежала».

— Здравствуйте, — весело поздоровался: вот, мол, и я, а вы думали совсем пропал.

Женя подняла голову и сразу опустила.

— Кто там? — послышался из-за печки голос Матрены Сидоровны.

— Гость, — не отвечая на приветствие, продолжая стирать, сказала Женя неожиданно со злостью. На минутку остановилась, чтобы застегнуть кофту и поправить волосы.

Можно было подумать, что встречали не его, а кого-то, кто шлялся, занимаясь пустыми делами, тогда как дома полно работы.

Не приглашаемый, он топтался у порога. Встреча была более чем странной. Мысль мелькнула: повернуться и уйти.

Из соседней комнаты раздался плач ребенка.

— Ну, ну! Ну, ну! — послышался голос Матрены Сидоровны. — Леша хороший парень. Что ты, что ты!

Женя ниже наклонилась над ванной. Мосалов испуганно замер. Внезапная догадка пронзила его. С трудом пришел в себя и невольно опустился на стул без приглашения.

— Как живете?

А в голосе неслось — попался как кур в ощип. Раздвоенно: его ребенок или не его? Но сын! Если его и сын, что тогда?

Надо оттянуть время, опомниться.

Женя молчала, с еще большим остервенением шоркала пеленки.

— Кто пришел-то? — поинтересовалась Матрена Сидоровна. Ей удалось наконец успокоить ребенка, и она выползла из-за перегородки. — А-а... Здравствуй. А я думала, что за гость. — Проковыляла к лавке у стола, села. — Что не раздеваешься? С дороги небось есть хочешь?

— Не-е. Спасибо. Я с другом. На лис охотились.

— А мы думали, вы забыли нас совсем. Карточки ваши получили. Олег приехал?

— Нет. Олег теперь в другом месте.

— Ага. Ну что ж, зови друга.

Женя услышала плач ребенка, бросив стирку, убежала в другую комнату.

— Ты его не кутай, пусть так как есть, — скосив глаза в сторону Мосалова, наказала старуха.

А он ждал, как на ринге ждут от опасного противника того удара, от которого подгибаются ноги и валишься на пол. Но удара не последовало. Был изнурительный бой, где не ясно, кто победил.

Вошел Костя. Женя собрала на стол. Не успели сесть, как заявились два брата Семеновых — Иван и Алексей. Мосалов послал Костю за вином в магазин. Началась пьянка.

Все, словно сговорившись, молчали о том, о чем думали. Ему казалось, ждали, что он первый начнет этот трудный разговор. Не верили, что охотились на лис, думали, узнал о сыне, приехал решать, как быть.

Но он не начинал. Да и о чем было говорить? Спрашивать Женю: мой это сын, или другого какого заезжего молодца? Пусть сами начинают.

Женя взяла Лешку на руки, сидела с ним за столом. Мосалов внимательно всматривался в детское личико, искал сходство. И находил! Нос его, с заметной горбинкой. Взгляд узкопосаженных глаз — его! И даже губки так же твердо сжаты. Сын!

Братья, жадные на водку, напились. Напоили и Костю. Заночевали. Женя отошла будто. Заботы по застолью отвлекли. Может, надеялась на что-то. Несколько раз, когда они оказывались с глазу на глаз, Мосалов пытался и не мог заставить себя задать вопрос, который не давал покоя. А она молчала. Так молчала, что не надо было и спрашивать.

Братовья остались у матери. Ночью пьяный Алексей вскакивал, грозился кого-то застрелить, кто ездит в гости, кого принимают, как человека, а он сви-

нячит. Иван и Матрена Сидоровна укладывали его и корили, чтобы не позорился. И в этих укорах Мосалов слышал упрек себе.

Кончилось тем, что Иван увел брата домой. Алексей плакал, жаловался, что его не хотят правильно понять.

Уехал тогда Мосалов, так и не переговорил с Женей. Сколько передумал после этого, перевернул в себе, а выхода, которым остался бы доволен, не находил. Не было его, того выхода, который бы успокоил, снял напряжение.

Первым делом сомнения замучили. Сколько он знал Женю—наездами. Двое детей, сейчас третий. Без мужа. Это уже что-то выдающееся в этом роде. Спроси его, как он относится к ней — ответить не сможет. Не презирает. Нет. Больше сочувствует, жалеет. Хотя жалость — это не его черта.

Судьба? В судьбу он не верит. Судьбу делает сам человек. Есть обстоятельства, которые влияют. Такими обстоятельствами для него было рождение сына. Хотя этого могло не произойти, если бы Женя была умнее, он — осторожнее. Если бы все делалось на трезвую голову.

Если из этого складывается человеческая судьба, то она называется глупостью. Люди делают глупости, а потом ссылаются на судьбу. У умных — судьба умная, у глупых — глупая.

Но тогда надо признаться, что он глуп. Такого не допускает. А между тем Олег, которого он считал глупее себя, смог его обойти. Выходит Олег умнее. И личная жизнь у Олега сложилась счастливо: жена красавица, свои дети. А у Мосалова... Тоню он любит. Но то, что у них нет детей — судьба? Нет! Глупость Тони. Он не сомневается: где-то она подзалетела. В бездетности она виновата. А он при чем? Судьба? Как он мог знать, когда женился, что его ждет? А если бы знал, не женился бы? Конечно! Надо было встречаться с ней до тех пор, пока не появится ребенок, а потом уж сходиться. Так не принято, но в этом есть резон.

Если бы он начинал все сначала, он бы не стал придерживаться этого «не принято», а делал так, чтобы не остаться в дураках.

Конечно, можно было развестись с Тоней, но теперь уже не так это просто.

Сын! Мечта! Но не с ним, не с его семьей, в чужих руках. И Мосалов ревнует его даже к Матрене Сидоровне — не она, а его мать должна нянчиться с Лешкой. Строит планы, как забрать сына. Ему кажется, Женя согласится. У нее их трое.

Куда подался Алексей? Одному тащить будет нелегко. Солнце через часполтора скроется за стеной гор. Косуля лезет в чащу, значит, конец чувствует. Скоро он возьмет ее на мушку. Два или три раза замечал, как мелькала среди кустов. Раз даже выстрелил, но далеко было.

Сейчас, когда устал, пожалел, что ввязался в это дело. Алексей, скорее всего, уже дома и с мясом. Местные, они знают все ходы и подходы. День тратить на одну козу не будут. Ну да теперь уже поздно отступать.

Так, так. Вот и конец.

Мосалов не мог продраться сквозь молодой ельник и, обойдя его, не нашел следов. Значит, она здесь. Вернулся. Тихо раздвигая колючие ветки, стал пробираться вглубь.

Серка лежала животом на снегу — прервался прыжок, ноги не доставали земли. Обернулась, смотрела на него красивыми печальными глазами. Мосалов, волнуясь выстрелил. Голова безвольно упала на снег. Тело напряглось, по коже прошла дрожь.

Странно. Мосалову вдруг стало жалко ее. Сколько шел, думал только об одном: скорее догнать, застрелить. Теперь пожалел. Ей так же больно, так же страшно, как и всем. Она такая же живая. Только не могла ни сказать, ни попросить. Все выразилось во взгляде: насколько она беззащитна, и насколько он — волк.

Но жалость, как явилась, так и исчезла. Принялся за дело. Легко, не такая уж она и тяжелая, вытащил Серку на чистое место. Голова повернулась, словно только затем, чтобы еще раз посмотреть на него. Выразительный взгляд мертвых глаз раздражал. В нем застыло удивленное внимание. Оно провалилось куда-то в бездну, и, присутствуя здесь, смотрело оттуда, из такого далека, как из космоса: вот ты какой!

Стараясь не обращать на голову внимания, он подвесил тушу и стал снимать шкуру. Занятие долгое, а надо было торопиться — скоро стемнеет. Лучи солнца теперь оставались только на верхушках деревьев. Потом соскользнут и с них, утонут в небе, погаснут. Наступит мерзлая зимняя ночь. До нее осталось совсем немного.

Кое-как, в спешке, то отхватывая куски мяса, то прорезая шкуру, он снял ее и положил рядом. Жалко бросать и тащить далеко. Еще не решил окончательно: взять или оставить. Но тут же усмехнулся: конечно, оставить. Легкое ли дело тащить на себе за столько километров шкуру косули, которая ничего ценного не представляет — половичок, кладут у порога ноги вытирать.

Вспорол живот, вывалил внутренности. Из них отделил сердце и печень. Отрезал голову и с удовольствием забросил в снег, чтобы не видеть больше глаз Серки. Разделал тушу на куски и хотел было укладывать в рюкзак, но вспомнил: мясу надо дать остыть, сбегнуть, иначе оно задохнется в целлофане. Вытер нож, сунул в ножны. Помыл снегом руки. Положил на пенек еще теплую шкуру, присел. С мяса шел пар.

Вот уже и нет того, что прыгало, бегало, паслось, что так долго уходило от смерти. Живое умерщвлено, разделано на куски — и уже не косуля — пища. Одни являются питанием для других. Как это, на первый взгляд, жестоко: только поедая кого-то, можно жить. И вместе с тем — разумно. Ничего не пропадает, не валяется. Разумнее, если даже будешь стараться — не придумаешь. Природа полностью отвергла жалость. До человека животный мир ее не знал. И это оправданно: каждый должен думать о себе, если хочет жить.

А в человеке она зачем-то появилась? Зачем? С каким умыслом природа наделила его этим чувством? Ему, Мосалову, оно не нужно. Он старается не обращать на него внимания. Не нравится, если оно появляется. При чем жалость, если все равно надо убивать. Он пошел на охоту затем, чтобы добыть мясо. Сделал дело и должен быть доволен. А тут — жалость. И уже испортилось настроение, будто он согрешил, сделал подлость. Хотя прийти и не убить — глупое дело. Над ним будут смеяться. Он прежде всего охотник, а не женщина. Тоня бы не смогла убить, пожалела. Зато она из этой косули сделает отличные котлеты.

Поднялся. Надо торопиться. Стал укладывать мясо. Конечно, по-хорошему следовало еще подержать его на морозе, но не позволяло время. Взвалил рюкзак на спину, поспешно двинулся в обратный путь.

Поначалу шагалось легко, потому что возвращался домой и не с пустыми руками.

Постепенно темнело, будто кто-то подсыпал в воздух черной пыли. Он серел, густел и терял прозрачность. На западе, сквозь кроны деревьев, прорисовывались темно-синие контуры гор на фоне желтого заката. Вершины их взметнулись высоко в небо и надежно загородили свалившееся за них солнце. Где-то там оно скатывалось дальше и уносило свет. Краски тускнели, меркли, исчезали вовсе. А на востоке все уже покрыла ночь. Он шел на восток. Начал охоту в одном конце дня, заканчивал в другом. Потратил, хотя и с остановками, весь день. Столько же надо будет возвращаться. Эта мысль его подталкивала. Потеряется, и никто из домашних не знает, куда он уехал. Ведь поездки в Кырму — тайна. Надо будет следующий раз предупреждать, мало ли что может случиться. Придумать какого-нибудь друга, который живет в Кырме, и он, Мосалов, ездит к нему охотиться.

Незаметно появилось неприятное ощущение, будто кто-то идет сзади неслышно, следит за ним. Скорее выйти из леса на чистое место...

Женя в этот раз как никогда была недовольна его приездом. Подарки чуть из рук ребятишек не вырывала. Лешка стоял, прижав обеими ручонками лошадку (прошлый раз он заказал Мосалову такую), побледнел, так боялся, что мать отымет и вернет дяде Лене. В глазах страх и отчаянная решимость. И в этот момент он до боли был похож на Мосалова. Тронь его Женя, Мосалов бы встал на защиту сына. До скандала бы дело дошло.

Старуха вступилась, стала увещевать дочку. Женя немного успокоилась. Но ему один на один высказала, чтобы боль-

ше не ездил. А он так и не мог понять, почему она рассердилась. Или хочет, чтобы он бросил семью и забрал ее со всем «выводком», как говорит Алексей.

Что Мосалова связывает с Тоней, с женой? Дочка из детдома. Пусть Тоня ее сама и растит, если родить не может.

Женя не гнушается никакой работой. А Тоня — лень. Не было бы его матери, в грязи бы сидели по уши.

А что скажут друзья, знакомые? Легко представить, сколько будет разговоров.

Не хватит у него мужества. Тут надо подвиг совершить. Половину квартиры придется оставить Тоне. У него останутся две комнаты. На шесть человек. Шикарно!

Сначала уехать в другой город, а потом и Женю забрать. Если она согласится оставить двоих в Кырме со старухой, а к нему перебраться с Лешкой. А еще лучше, если бы отдала сына. Да, это лучший из вариантов: забрать Лешку. Тоня его примет, и мать будет рада.

Женю он никогда не возьмет, потому что не простит ей прошлой жизни.

А сын у него получился подпольный как бы. Никто о нем не знает: ни родные, ни друзья. Интересное положение.

На минутку прислонился к темному стволу дерева, поправил рюкзак. Почувствовал, насколько устал. Лямки натерли кожу, наверное, уже до красноты, до мозолей.

Что-то засопело, затрещало в густом осиннике. Мосалов вздрогнул, схватился за ружье. Но там, в чаще, темной и устрашающе высокой, уже было тихо. Перевел дух и снова замер, прислушиваясь. Стучало сердце, не могло успокоиться, слишком большая нагрузка. Толчками ударяла в виски кровь, но это не мешало слушать.

Опять стало казаться, что кто-то следит, прячась в темноте леса. Мосалову его не видно, он видит отлично. Ознобом взялась мокрая спина.

Осинник кончился. Вздохнул облегченно. Но впереди вставал огромной черной стеной ельник.

Под ногами попалась чья-то лыжня. Остановился. Напряг зрение, уловил мерцающий под звездами след, двинулся по нему. Идти стало легче. Лыжня должна привести его в поселок.

Только сейчас заметил, что мороз стал крепчать, хотя тот, дневной запах весны, как будто еще оставался.

Уже в январе солнечным днем в густом лесу на полянке, куда не залетает ветер, оттаивают нижние ветки деревьев, замшелые пни, зеленые ягодники, мхи — и запах их напоминает о далекой пока весне. Но сейчас, ночью, когда мороз снова высушил воздух, никаких запахов, конечно же, не было — почудилось.

Сколько лез сквозь густой ельник, все ждал, что вот распахнется лес, расступится — и откроется поле, за которым засветятся огни поселка. Но лес не кончался, а лыжня уводила в сторону, на юг, когда надо было идти на восток.

Шевельнулось чувство страха. До этого и призраки, следящие за ним глазами косули, и еще что-то неопределенное, чем была наполнена густая темень леса, держали в напряжении, подгоняли, но не страшили так, как испугался он того, что заблудился. Это означало: может плутать ночь и не попасть в Кырму. А сил оставалось не так много, уже с шести часов на ногах.

Страх подгонял, торопил, скорее выбраться из леса. Лыжня завернула в другую сторону, чуть ли не обратно. Конечно, идти по ней гораздо легче, но кто знает, куда она его заведет. Может, это след охотника, тогда он будет петлять бесцельно.

Остановился, переводя дух, прислушался. Тишина глубокая, мерзлая. Вверху мерцают крупные звезды. В городе при уличных огнях, слепящих фарах машин, светящихся окнах они отступают, теряют свою таинственность. Людям там нет до них дела. Здесь, среди безмолвья черной тайги, становится ясным, что только звезды всегда и везде, остальное может быть и не быть. Свет их показался сейчас Мосалову особенно холодным и безучастным до его страхов и волнений. До него самого и всего, что с ним связано, такого мелкого, ничтожного. И вообще до всего, что происходит на земле.

Возникло чувство неприкаянности, беззащитности, ничтожности.

Отыскал Большую Медведицу, и от нее — Полярную звезду. Сошел с лыжни. Сразу стал глубже проваливаться в снег. И эта перемена в движении снова

обозначила, насколько он устал, и еще — насколько проголодался. Тот кусок хлеба с маслом, что положила Матрена Сидоровна, он съел еще в первой половине дня. Больше есть нечего. Не думал, что придется так долго «работать». Это выражение его друга, кандидата наук, биолога. Местные так не говорят, охоту за работу не считают.

Ноги еле держали. Мягкая липкая дрожь, начинаясь где-то под сердцем, вызывала томительное чувство голода.

Остановился, сбросил рюкзак, нашел спички, но зажигать не стал, переложил в карман. Что можно успеть увидеть за короткое время, пока горит спичка? Ничего. Зато потом наступает кромешная темнота. Да и боялся, что свет спички привлечет чье-нибудь внимание. И хотя понимал, никого сейчас в тайге быть не могло, все равно боялся.

Из мешка пахнуло спертым запахом свежего мяса, в котором слышался душок потрохов и свежепережеванной травы.

Ощупью и насколько мог видеть при свете звезд нашел печень. Без соли она была сладковатая, пресная — живое мясо. Но зато полезная, тешил он себя. Местные, убивая косулю или изюбря, едят сырую, еще теплую. Ему тоже несколько раз предлагали отведать такой деликатес, но он отказывался.

Пока ел, из темени черного елового колеса за ним следили холодные глаза косули, в которых навечно застыли страх и боль, мертвое равнодушие и тщетность всего, презрение и вечность, как в свете звезд. А за секунду до выстрела, когда она обернулась и смотрела на него, что же он будет делать дальше, — ненависть. Она ненавидела его люто. Была бы возможность, вступила бы с ним в смертный бой. Но, к счастью для него, ее удел спасаться бегством.

Вспомнился случай. Кот у них был на даче ленивый до безобразия и к тому же пакостник. Но ходил по дому с таким видом, будто он хозяин, а все остальные — прислуга. Его бранили, хотели избавиться. Но стоило Мосалову заговорить об этом серьезно, сразу вступались за Жоржа: он оказывался сносным котом, даже полезным. Жалели. Мосалов терпеливо ждал случая. И вот однажды, когда все были в огороде, он застал Жоржа у крыльца с жадностью уплетающего рыбу. Мосалова возмутила жадность и то, что вор не обращал на него внимания.

Заскочив в дом, он схватил ружье и, не задумываясь, выстрелил. Попал в шею. Кровь хлестала из раны. А Жорж неуклюже прыгал на месте, словно хотел отцепиться от чего-то, что привязалось к нему. Потом затих. Мосалов оттащил его в огород и зарыл у забора.

Кроме вида хлещущей крови и неуклюжих прыжков смертельно раненного кота, запомнился дикий взгляд, которым Жорж одарил Мосалова. Это было всего мгновение, кот обернулся и взглянул на него зло и удивленно. Поразила сила злости. Если бы она выразилась в физических единицах, Жорж попросту бы превратил Мосалова в кучу пепла.

Все домашние дивились «жестокости» Мосалова. Рыбу, чтобы не портилась, отдала коту сама Тоня.

Давно это было, а помнится до сих пор. Теперь уже пусть с малой, но долей вины. А вина всегда результат жалости. Если не жалеть, то и виниться нечего.

Опять эти мысли о жалости. Мосалов отмахнулся от них.

Кое-как с трудом проглотил несколько кусочков сырого, еще теплого мяса, что похрустывало жилами, таяло кровью во рту, словно сочилась рана. Без привычки еле сдерживался, чтобы не вырвало. Положил остатки печени на место, помыл снегом руки, пососал корочку льда, прогоняя привкус крови, завязал рюкзак и не раздумывая взвалил его за спину, двинулся дальше.

Опять густые тени деревьев. Как ни старался не задевать ветки, не получалось: нет-нет да и валился на голову сугроб снега.

Почему человеку страшно в такую темень? Ведь никто на него напасть не может, а неприятно и, чего скрывать, страшновато.

Человек в темноте плохо видит, не приспособлен, не может уловить опасность. Страх предков живет в нем. На них нападали ночью, они боялись темноты, прятались в пещерах, разжигали огонь, чтобы рассеять мрак, отпугнуть врагов...

Хвойный лес вскоре кончился, сменился редким березняком. Сквозь голые

кроны деревьев далеко внизу мелькнули огни Кырмы. Сразу стало легче дышать, исчезли скованность и напряжение.

А усталость, как ни странно, выросла. Даже лень появилась. Тянуло опуститься на пенек, передохнуть. Но Мосалов упорно шагал на огни.

Возле дома Семеновых стоял грузовик с длинным кузовом, покрытым брезентовым тентом. В таких возят скот.

Залаяли собаки. Древнюю, из толстых досок, калитку Мосалов попытался открыть бесшумно, но она все равно тягостно вздохнула, будто пожаловалась, что и ночью ей покоя нет. Собаки уже уловили запах мяса, заволновались, заскулили.

На крыльцо вышел Алексей.

— Ты? А я видел твой след, не захотел тащиться.

Мосалов молча поставил лыжи у крыльца, снял ружье, потом рюкзак уже в сенях.

— Вымотала, — пожаловался самодовольно, — все ж вернулся не с пустыми руками.

Алексей отнесся к его успеху спокойно. Только уточнил, куда ранил, где догнал, и сказал, что он так и предполагал, потому что видел по следу, уходила она легко.

Мосалов обметал ичиги, стряхивал снег с куртки, шапки, брюк. Посмотрел на часы, было половина двенадцатого. В дом заходить не торопился. Всегда приход сюда для него и радость, потому что эта встреча с сыном, и неловкость, оттого, что ему здесь не рады.

— Надо свежего поджарить, — предложил Алексею.

— Там уже поджарили.

— Ты что, тоже принес?

— Нет. Следов больше не нашел, вернулся домой.

Мосалову стало веселее. Если бы Алексей добыл и давно ждал его, было бы неприятно.

За столом сидели Иван и еще какой-то незнакомый парень. Скорее всего, шофер с той машины, что стояла у двора. Матрена Сидоровна с ребятишками отдыхала. Женя сидела рядом с парнем.

— Раздевайся, садись поешь, — пригласил Алексей, усаживаясь к столу на широкую лавку у стены.

Устоявшимся уютом пахнуло от тепла комнат, от застолья, от всего вида крестьянского дома после сурового холода тайги. Если бы не настороженный взгляд Жени и не совсем приветливые остальных, Мосалов бы чувствовал себя отлично.

Он сразу оценил обстановку: сидели давно — все выпито. У него в машине оставалось еще две бутылки водки, но торопиться не стоит. Посмотрит по обстоятельствам.

Умылся, подошел к столу. Прежде чем сесть, протянул парню руку, познакомился. Тот стушевался, через запинку представился — Николай.

— Ну что, тяжелое мясо? — спросил Иван.

— Километров сорок отмахал, — пожаловался Мосалов.

— Это делается головой, а не ногами, — рассмеялся Алексей.

И братья стали рассказывать, как надо было обмануть косулю, чтобы не бить ноги. Хмельные, в приливе хвастовства, откровенничали. В другой раз ни за что не раскрыли бы тайну охоты. Мосалов «мотал на ус». Таким образом он уже многому у них научился.

Не ожидая ничьего приглашения, тем более Жениного, налил себе в большую кружку горячего чая и, нагнувшись над столом, с жадностью стал пить небольшими глотками, почти не отрываясь.

Братья вскоре замолкли. Видно было: не хватало хмеля. Мосалову не хотелось их угощать. Он хорошо представлял дальнейшую картину. Выпьют и те две бутылки. Иван останется таким же, только краски добавится в лице да взгляд потяжелеет, говорить будет еще медленнее. Алексей же станет хвастаться, шуметь, без дела спорить.

Кроме того, Мосалову претило присутствие Николая и то, с каким вниманием ухаживала за ним Женя. Шофер относился к этому спокойно, как к должному, и заметно было, чувствовал себя здесь в своем доме. Светловолосый, сероглазый. Лицо узкое, простое, но приятное. Чуб спадал на правый глаз, и он часто откидывал его привычным движением головы, иногда укладывал рукой. Женя придвинулась к нему вплотную,

будто намеревалась забраться «под крылышко».

«Что это она так уж? — неприязненно подумал Мосалов. — Чуть в рот не заглядывает...»

Есть не хотелось. После того кусочка печени, что съел в лесу, на мясо смотреть не мог. За столом чувствовал себя чужим. Братья тогда замечали его, когда ставил водку.

Поднялся.

— Я, однако, прилягу, ноги гудят,— пожаловался, ни к кому не обращаясь. Никто ему ничего не ответил.

Снял мокрые ичиги, надел сухие теплые носки, прилег на топчан здесь же в прихожей, у перегородки в спальню. Укрылся своей шубейкой.

И сидя за столом, и, особенно сейчас, когда лег, в нем еще что-то не остановилось, двигалось, шло. Во всем теле жило движение, натруженно отзываясь легкой, невесомой болью.

Вскоре усталость взяла свое, уснул. Снился тяжелый сон. Будто кто-то с головой косули уносил Лешку в тайгу, в горы и куда-то выше гор. А он собирается догнать его и никак не может собраться, не может двинуться с места. Вот и лыжи привязаны, и ружье за плечами, и в мыслях, или каких-то только сну присущих желаниях, он уже догоняет чудище, но на самом деле стоит на месте, как заколдованный. А оттуда, из-за леса, из-за гор, где садится желтое солнце, на него смотрит жалобными глазами Лешка. И что-то в его взгляде есть от предсмертного взгляда косули. Мосалову до боли жалко сына, вот-вот заплачет.

Боль эта разбудила его, но не полностью, какую-то часть сознания, которая стала понимать, что все это сон и ему надо скорее проснуться, чтобы успокоиться. С превеликим трудом, будто разрывая паутину из шелковых ниток, продрался к действительности.

Темно. Уже никого нет. Из спальни доносится горячий шепот. Мосалов, будто кто-то толкнул его в бок, сразу прогнал остатки сна, насторожился.

Братья ушли домой. Матрена Сидоровна с ребятишками в детской. Здесь Николай и Женя...

Подняться и вышвырнуть его, как поганого кота, решает Мосалов. Но вспоминает, как увивалась возле шофера Женя, и понимает, что вышвырнуть он может, но и его потом не пустят сюда.

Он лежит и слушает и чувствует себя не лежащим, а плывущим между полом и потолком. Туда поднимает его возбуждение и негодование. Слух обострился больше чем на охоте, когда что-то затрещало в осиннике.

«И старуха, наверное, не спит. Еще дети услышат. Бесстыдство! Это она затащила его к себе».

Он еле сдерживался, чтобы не открыться, что не спит. Но терпел: пусть думают, что он ни о чем не догадывается. Иначе он не должен сюда ездить. Есть же у него гордость или нет?!

Потом они опять шептались, и больше было слышно Женю.

«Еще один будет,— подумал Мосалов, — на этот раз Колька».

«Надо завтра переговорить со старухой», — решил он. Она имеет влияние на дочку, сможет ему помочь. Надо убедить ее в том, что Лешке с ним будет лучше. Мосалов его воспитает, сделает из него человека, не охотника, не рабочего совхоза, а инженера. Сын будет ему всю жизнь благодарен. Ну, конечно же, мать и бабушку Лешка не забудет. Мосалов позволит ему приезжать сюда, в Кырму, на каникулы, летом.

Утром проснулся от того, что Женя возилась на кухне и брякнула пустым ведром. У ворот гудела машина. Николай прогревал двигатель.

«Кот. Видно, не промах, смотри уже встал,— подумал Мосалов о шофере.— Ночью успел и о работе не забывает».

Он лежал не открывая глаз. Не выспался, не отдохнул. Но, главное, то неприятное, что случилось вчера, оставалось, перенеслось в сегодняшний день и теперь вместе с пробуждением разрасталось.

Старуха, охая, пропаркала на улицу. Вскоре вернулась. Мосалов слышал, как она усаживается на табурет у печки, как скрипит он под ней.

— Что же это Лексею не постелила? — спросила Женю. Мосалова старуха звала не Леонидом, а Лексеем.

Женя не сразу ответила, после долгой паузы нехотя выдавила:

— Завалился, не стал ждать.

— Умаялся. Добыл чего?

— Добыл...

— Молодец.— И будто что-то обдумав, предупредила: — Ты с ним поласковей. Он, вишь, ребятишкам подарки. Лешка доволен конем-то по уши.

— Не нужны его подарки и сам он лучше бы не ездил, — вспылила Женя.

Мосалов покраснел от стыда, но лежал, ровно дыша, притворившись спящим. Женщины говорили приглушенно, вполголоса.

— Не пойму, чем он тебе мешает? Ребятишки ему нравятся. Охоту любит. Коля, что ли, ревнует?

То, что потом едва услышал Мосалов, Женя произнесла шепотом.

— Коля меня к себе забирает!

Некоторое время висело молчание. Слышно было, как работает машина возле двора да взлаивает пес, молодой, рыжий, что привязан отдельно от остальных. Он неспокойный, все прыгает, рвется, лает без конца. Алексей говорит, что из него получится толк, хватка есть. Ума наберется, даже на зверя пойдет.

— Это новость! — наконец послышался голос старухи. Она явно была озадачена. — Как забирает-то — одну?

— Почто одну, с ребятами.

— А мне что ж прикажешь, лазаря петь?

— Ну, мама...

— Здорово порешили...

Старуха произнесла это уже в полный голос и Женя, наверное, испугавшись, что Мосалов проснется, попросила:

— Потом обговорим. Время хватит.

— Это новость, — опять в раздумье обронила старуха.

— Что же мне, одной куковать?! — сердито шепотом, не выдержав, спросила Женя.

— Да-да. Мне-то уж недолго осталось, — упавшим голосом с тоской и печалью пожаловалась Матрена Сидоровна. Ее явно расстроило сообщение дочери. — Что, может, еще?..

— Глупости не городи. Лешки хватит.

— Из-за Лешки, значит, и берет.

— Может, из-за него, может, так.

— С тремя за так брать не стал бы, наверное, — в раздумье произнесла Матрена Сидоровна. — Из-за сына берет.

«Она что говорит? Лешка — Николаев сын!» — вздрогнул Мосалов. В груди сжалось напряженно и не отпускало. Мысли растерянно разлетелись. Он с трудом собирал их.

«Лешка ведь не похож на этого Николая вовсе. Неужели он уже тогда ездил? Ведь прошло четыре года... Врет она! Врет! Мой Лешка сын. Мой!» — немо кричал, чувствуя, как тяжелый ком, что скатился откуда-то на грудь, вот-вот придавит его, не даст дышать.

Если даже Женя и говорит правду, то как не хотелось ему слышать, верить в нее. В какое положение она ставит его, эта правда.

Но ведь было же, было! Она соврала матери, чтобы скрыть. Как же так! Если даже в одно время и с тем было, тогда, как она может узнать, чей сын?

Надо спокойно и трезво все взвесить, разобраться.

Он бы разобрался, если бы не почувствовал в Лешке сына. Если даже чужой, все равно его: Мосалов привык считать его своим.

Надо встать сейчас, пока тот еще не уехал, и все выяснить. Пусть она не мудрит. Она Мосалову не нужна, сын ему нужен. Он — его, Мосалов это чувствует.

Хотя какое-то противное подозрение, как туман, как едкий запах, что проникает даже в плотно закрытую дверь, просачивалось в душу. Но шло оно стороной, прижавшись, не решаясь заявить о себе в полную силу. И, замечая его, не желал обращать на него внимания.

Слишком грубо с ним обошлись. Он не привык, чтобы с ним так обращались. Они плохо его знают. Он не даст в обиду ни себя, ни сына.

Поднялся. Мгновение посидел, свесив ноги, собираясь с духом. Протер глаза, чтобы выглядеть свежее и решительнее, встал, шагнул на кухню.

— Доброе утро...

Обращался больше к Матрене Сидоровне.

— Доброе,—приветливо ответила она.

Мосалов почувствовал, что бледнеет от решительности.

— Врет она, — указал на Женю. — Лешка — мой сын!

Матрена Сидоровна испуганно взглянула на него, да так и отвела глаза, будто что-то прикидывала в уме.

— Да, да! — продолжал он решительно.

Женя не повернулась. Как чистила картошку, сидя к свету, так и продолжала сидеть, согнувшись, только, кажется, глубже втянула голову в плечи.

А Мосалов нес, сам не помня что.

— Не нужен я ей, не надо. Но сына я никому не уступлю,— на пределе, но не громко, с хрипотой в голосе, закончил он.

— Дурак ты! — послышалось со стороны Жени.— Матери-то постыдился бы.

— Постыдился?! — Мосалов резко повернулся к ней. И уже готов был высказать все, что он о ней думает, чего должна была она стыдиться, но чудом удержался. Каким-то чувством, которое удерживает человека в равновесии, когда он переходит пропасть по жердочке. Он и тогда удержался, а Олег свалился в Чумчу и плавал там, барахтаясь, как слепой щенок.

— Не будем о стыде. Здесь не стыд, здесь другое, — сбавил он тон.

Если бы не удержался, стал упрекать ее, он бы потерял поддержку Матрены Сидоровны. А это означало — конец всему. Его просто-напросто не пустят больше на порог. Братья с ружьями встанут. И ничего не сделаешь, никому не пожалуешься.

Он замолчал. И в наступившей тишине слышно было, как пыхтит огонь в печке и работает машина возле двора.

На пороге застучали сапогами, сбивая снег. Вошел Николай. Мосалов невольно с ревностью посмотрел на него. Он был ничего, крепкий, как сибиряки говорят, ладный парень. Даже чуть повыше Мосалова, но в плечах уже, тоньше. В крытом полушубке, в теплых сапогах.

— Кое-как раскочегарил, — протягивая руки к плите, сказал, обращаясь, как показалось Мосалову, к нему.

По комнате рассыпался запах бензина. Руки у Николая с тонкими пальцами, черные от мазута.

Мосалов вспомнил ночные звуки, и снова поднялась злость.

— Ты давно здесь ездишь?

— Как «здесь ездишь»? — не понял Николай.

— Сюда давно заезжаешь?

Женя поднялась пройти к плите с очищенной картошкой. Она сегодня в черной из толстой ткани юбке, в серой шерстяной кофте, на ногах мягкие домашние туфли. Волосы аккуратно уложены, перехвачены синей лентой. Мосалов подумал, что ее не стыдно было бы и друзьям в городе показать. Нарядилась, конечно же, ради Николая. Когда он, Мосалов, приезжает, она может, не стесняясь, ходить и растрепанная и в грязном.

Повернувшись к нему, зло заметила:

— Давно ездит. Уже пять лет ездит. Что еще тебя интересует?

— Тише, тише, — проворчала старуха, сдерживая горячность дочери.

Пять лет. Значит, до того, как они с Олегом спустились с гор. И Мосалов первый раз с ним здесь встретился! Ничего удивительного: он приезжает в выходные, а шофер — в рабочие дни. А часто ли он сюда ездит?

Значит, Лешка мог быть и этого шофера.

Мосалова пошатнуло. Ощущение, словно вот-вот потеряет сознание. Глаза прищурились, лоб болезненно сморщился, брови поломались. Был похож на человека, который испуганно силится что-то вспомнить. Обернулся к старухе. Та сидела потупившись, не вмешиваясь в разговор.

— А что надо? Зачем? — поинтересовался Николай, искренне готовый прийти на помощь.

— Делать нечего, допросы учинять взялся, — раздраженно заметила Женя.

Ребятишки проснулись, завозились в спальне. Среди общего ребячьего веселья Мосалов безошибочно выделял голос и смех Лешки.

— А ну-ка прекратите, — повернулась старуха к двери детской комнаты. Голоса притихли, но вскоре раздались снова.

Николай уступил Жене место у плиты, повернулся к выходу.

— Пойду заглушу. Нагрелась.

— Ты не успеешь со своей картохой. Уедет он сейчас. Что спала-то? — упрекнула Матрена Сидоровна дочь.

Мосалов нерешительно двинулся было за Николаем, но Женя остановила.

— Ты погоди. Я что-то скажу.

Накинув на плечи полушубок, пошла за ним. В сенях горел свет. Здесь их никто не слышал. Мосалов повернулся к

ней. Она смотрела ему прямо в глаза— решительная, даже губы вздрагивали.

— Ты вот что! Не вздумай Николаю чего-нибудь говорить. Ясно тебе? — И не объясняя, почему он не должен ничего говорить, приказала тверже, еще сердитее: — Не вздумай! Не твое это дело...

Глаза горели темным огнем и сделались некрасивыми — раскосыми и злыми. Но столько было во взгляде силы и гнева, что он растерялся.

Машина заглохла. Хлопнула дверка кабины, раздались шаги. Женя метнулась в избу. Мосалов остался стоять посреди сеней. Шофер прошел, не обращая на него внимания.

Холод привел Мосалова в себя — он вышел раздетый. Вернулся в дом. Николай сидел за столом. Женя суетилась возле него, подавала разогретое, оставшееся от вчерашнего ужина мясо, варенье к чаю, сливки. Резала домашний калач.

Мосалов надел полушубок, шапку, вернулся в сени. Здесь он вчера разложил на целлофане куски косули. Половину бросил в рюкзак, завязал и отнес в машину. Половину оставил им.

Уезжать не торопился. Постепенно приходил в себя.

«Неужели ошибся? Шофер сероглазый, а у Лешки глаза желтые, мои. И так же узко посаженные. И лоб, и нос, и губы — все мое! Врет она! Хочет отвадить, чтобы не ездил. Боится, что помешаю. Старуха ко мне благосклонна, пусть она нас и рассудит...»

Завел машину, стал прогревать двигатель. Мороз в ночь доходил до тридцати градусов — настыла, не держала газ, еле пыхтела. Приборы заиндевели.

«Неужели этот Николай раньше меня здесь был? Неужели она правду сказала?»

«Неужели он женится на ней? Заберет с тремя детьми? И Лешка уйдет...»

«Неужели этот чудак еще не женатый? Ведь ему тридцать, не меньше!»

«Пусть они как хотят, только пусть Лешку мне отдадут!»

Работа двигателя выравнивалась, увеличивались обороты, и Мосалов успокаивал его, сокращая подачу горючего. Поставил на ручной газ, вылез из машины, стал сметать иней с верха кузова, с капота, протирать стекла. Проверил колеса, посмотрел аккумулятор, рулевое.

Наконец скотовоз уехал. Женя, проводив Николая, вернулась в дом. Мосалов зашел следом. Женя молча поставила и ему поесть. Он после всего, что узнал и услышал от нее, стал чувствовать себя здесь еще более чужим. Хотя кроме подарков детям и постоянного угощения вином братьев каждый раз давал деньги Матрене Сидоровне. Женя, когда он как-то заикнулся ей о деньгах, категорически отказалась. Старуха брала молча и, скорее всего, дочке не признавалась. Даже не интересовалась, с чего ради он раскошеливается.

Аппетита не было. При виде мяса, вспомнил взгляд косули. Если бы она не была ранена еще тем выстрелом у ели, он бы ее пощадил.

Чепуха! Целый день тащиться по сугробам в пояс, а потом не стрелять. Лезет в голову всякая чушь!

С удовольствием выпил чаю со сливками. Чай здесь чудесный. Такой в городе не приготовишь. Там вода пропахла хлоркой, да и сливок таких не найдешь. Даже вот этот старый закопченный заварник имеет значение. Мосалову приходилось бывать на полевых станах у пастухов. Поначалу с брезгливостью смотрел он на давно немытый котел, в котором кипел зеленый чай, на кружки такой же чистоты. А когда однажды не удержался, попробовал, о чистоплюйстве сразу забыл — ничего подобного никогда пить не приходилось.

Так и здесь. Нечего пытаться приготовить такой напиток в городских условиях. Это все равно что посадить ветку кедра в горшок с землей и ждать, что она приживется.

Пока Женя собирала ему на стол, пока отправляла ребятишек на улицу, молчали. Матрена Сидоровна, как всегда, лежала на своей кровати в соседней комнате. О ее присутствии можно было только догадываться.

Мосалов не мог придумать, с чего начать. Подключать сразу старуху или пока обходиться без нее.

Но Женя сама вдруг присела к столу и открыто и строго посмотрела на него. Глаза темные, глубокие и усталые. Морщины, которых он раньше не замечал, начинали опутывать их, старить.

Странный она человек, непонятный для него. Ему и жалко ее по-человечески: надо быть терпеливой, даже мужественной, чтобы в ее положении так держаться, и вместе с тем — не от большого ума все это — сама себе жизнь поломала.

— Давай договоримся, — сказала Женя спокойно, но со скрытой страстью.— Ты больше сюда не езди. Извини, конечно, не по-нашему это — от дома отказывать. Но тут другое. Ты мне мешаешь. У нас с Колей стало налаживаться.

Он слушал ее напряженно, хотя внешне было невозможно заметить, только чаще отхлебывал из чашки. Что «стало налаживаться», он понял ночью. Наверное, эта мысль как-то отразилась на его лице, потому что Женя рассердилась.

— Да! Не улыбайся. Он меня согласен взять. И ты не вздумай мешать. — Она хотела подняться, вернулась ее раздражительность, но пересилив себя, продолжила: — А в отношении Лешки, выброси из головы — не твой он, Колин... И не вздумай Коле когда-нибудь глупости свои сказать... Тогда вообще!

— Ты, Лексей, должен ее понять, — послышался из детской голос Матрены Сидоровны. — Она у меня самая невезучая, вся жизнь комом. Сейчас наметилось будто...

Старики всегда не договаривают, дают возможность тому, кому говорят, самому догадаться. А если он не понимает, подсказывают.

Матрена Сидоровна не стала выкладывать всего, остановилась, ожидая, как ее понял Мосалов.

Мосалова не трогала судьба Жени. Его интересовало одно:

— Почему ты считаешь, что Лешка не мой сын? — не обращая на слова Матрены Сидоровны внимания, спросил Женю.

Она посмотрела на него устало, с сожалением.

— Лешка мой сын,— произнесла медленно и твердо.

— И мой,— стоял на своем Мосалов.

Опять раздался голос Матрены Сидоровны. Она хоть и оставалась в детской, но за разговором следила.

— Тут уж правильно будет — того сын, к кому мать пойдет.

Мосалов насторожился. Ему показалось, Женя сейчас улыбнется и спросит: «Ну что, согласен нас всех взять?»

К этому он не был готов. Даже представить себя отцом такого семейства тяжело. Их надо одеть, накормить, создать условия. Не такие, как в Кырме, а в каких он привык сам и его мать.

Нет! На подвиги он не способен. И его нисколько не интересует судьба Сережи и Светки, в том числе и Жени. Ему нужен только сын.

Почувствовав растерянность Мосалова, Женя насмешливо улыбнулась.

— Да ты не бойся, мы не навязываемся.

— Я не боюсь. Ты же знаешь, у меня есть жена.

— Первый раз слышу.

— Но детей нет.

— Бедняга! — просто посочувствовала Женя. — И ты решил чужого ребенка усыновить?

— Что ты имеешь в виду? Лешка мой сын.

— Ну хватит!.. — Женя встала, подошла к плите, сдвинула крышку на бачке, в котором готовила свиньям, и, резко повернувшись, сказала: — Запомни, если ты даже мне помешаешь, Лешки тебе не видать в любом случае. — И помедлив, вдруг улыбнулась. — Я думала, ты шутишь, что Лешку у меня просишь. А ты, оказывается, серьезно вбил в голову. — Она насмешливо покачала головой. — Кто хоть виноват-то, что детей нет? — поинтересовалась сочувственно. То обстоятельство, что у Мосалова не было детей, ее тешило. Оказывается, это тоже несчастье. А у нее их хоть занимай.

— Не важно, — буркнул Мосалов.

— Ты, наверное. А тут решил — твой сын.

Она заметно повеселела.

— Да, Лешка мой сын, — твердо заявил Мосалов.

Женя оглянулась на него с удивлением и недовольством.

— С начала начнем? Лучше уж не мешай мне. Ты же умный человек.

Она накинула куртку и вышла на улицу.

Мосалов остался сидеть за столом с пустой кружкой в руках. Он уже давно

выпил чай, а кружку все не выпускал, словно грел руки.

— Ты бы, Лексей, пожалел ее, — послышался голос Матрены Сидоровны. — Ей уже больше такого случая может и не получится.

Мосалов резко оттолкнул кружку, встал. Одно это слово «пожалел» взбесило его.

Прошелся по комнате. Направился было в детскую, хотел сказать старухе, что он презирает жалость — глупое, никчемное, подлое чувство, которое дано человеку для того, чтобы оставлять его в дураках. Пожалей косулю и останься голодный, пожалей Женю и останься без сына. Пожалей — и отдай единственное, а сам останься ни с чем. Глупее не придумаешь!

Нет! Тут уж кто осилит, кто верх возьмет, тот и прав, тот и счастлив. Чужим счастьем счастлив не будешь.

Но сдержался. Со старухой спорить мало резону. Только она еще более-менее терпит его здесь.

Вошла Женя. Поблагодарил за завтрак, стал одеваться. Ни о чем говорить не хотелось, и она молчала.

Вышел на улицу. Возле машины толклись ребятишки. И Лешка, с красным носом в новом пальтишке — его подарок — подвязанный зеленым шарфом, обернулся и взглянул на него желтыми, узкопосаженными глазами. И возле сердца затеплело и заболело одновременно.

— Ну-ка, кто самый смелый из вас, кто мне поможет? — обратился к ребятне.

Все бросились помогать, открывать багажник, укладывать вещи. На самом деле все это была детская колготня, ничего они помочь не могли, мешали. Мосалов протискивался сквозь них, делал все сам.

— Ну что, прокатить вас за это? — спросил он, когда все было уложено.

Все дружно закивали головами, радостно заулыбались. Прокатиться — это их мечта.

Светку и Сережу он посадил на заднее сиденье. Лешку рядом с собой.

— А ты, как самый большой, будешь мне помогать рулить, — сказал сыну.

Сзади прыснули со смеха — Лешка самый большой и помощник!

— Будешь?

Мальчик молча кивнул и внимательно посмотрел на него, как-то серьезно, не по-детски, Мосалов невольно положил руку на плечо ребенку, склонил его к себе. И сам наклонился. Постороннему взгляду, а он знал, Женя из-за занавесок наблюдает за ними, могло показаться: он просто разговаривает с Лешкой. На самом деле это был жест, выразивший состояние души. Так хотелось ему прижать этого человека к себе, почувствовать его всего, все его маленькое тельце, свое, родное. Это чувство было для Мосалова новым, незнакомым прежде. Выходит, можно прожить и не испытать всего того, чем наделила природа человека. Чувство любви к своему ребенку, это совершенно другое чувство, чем к матери или близкому человеку. В этом отношении Женя счастливее и его, и Тони. У нее вон их сколько!

Накинув теплый платок, Женя вышла открыть им ворота и даже рукой помахала ребятишкам. Это маленькое внимание и то, что она не возражала, чтобы он прокатил их, тронуло Мосалова и одновременно вселило надежду, что все будет хорошо.

Лешка ничего не видел впереди и поэтому не усидел, встал, положив ручонки на облицовку. Сиденье толкало на неровностях сзади под коленки, и Мосалов поддерживал его за спину. От ощущения того, как напрягается и гибко клонится под его рукой тело ребенка, и сознания того, что этот маленький человек его сын, Мосалов был счастлив.

Николай уже загрузился скотом, проехал в город. Мосалов развернулся и повез маленьких пассажиров обратно. Вылез, выпустил с заднего сиденья старших, потом Лешку. Не удержался и поднял его высоко над головой, приговаривая, какой он большой, прижал к груди. Все были в восторге. Простился со всеми за руку. На окна не взглянул, хотя знал, там из-за занавесок за ним следит Женя, а то, может, и Матрена Сидоровна.

Дорога стремительно бросилась под колеса, зашипела, будто разогретая скоростью, вытягиваясь сзади в длинную узкую черную ленту, зажатую с боков снегами. Кроме этой черной ленты шоссейной дороги, все вокруг бело. Снег на солнце сверкает — глазам больно. Не-

ровности дороги, уклоны и перекосы мягко кренят машину то в одну, то в другую сторону. Мосалов догнал стрелку спидометра до сотни километров и не сбавлял скорости. Грузовик Николая больше семидесяти не должен идти: на борту стояла цифра семьдесят.

Долина здесь неширокая, клином застряла между покрытых лесом предгорий, где он вчера охотился. Дальше, на север, горы отступают, встают голыми белоснежными вершинами, подпирая небо. Тянутся и тянутся без конца. Кажутся недалекими, на самом деле километров сорок, не меньше. Их постоянное молчаливое присутствие иногда угнетало его. Он не любит, действует на нервы, если что-то вот так, как горы, торчит только потому, что должно торчать. Хотя при хорошем настроении можно поглазеть на них, особенно, если остановился передохнуть, тогда они кажутся другими: величественными и вечными, схоронившими в себе недоступную для людей тайну.

Мосалов бросил взгляд на снежные вершины, что горели сейчас среди ясного зимнего дня белым глянцем.

А ведь они и летом не тают, удивился он вдруг. Значит, там, как в леднике, холодно. Странно. Оттого, что вверху всегда светит солнце, что оно греет землю, кажется, чем выше, тем должно быть теплее — ближе к солнцу. А там космический холод. Уже на высоте трех тысяч метров холодно. Тепло только внизу. Если сравнить со Вселенной: три километра пленочка микроскопическая — и в ней копошится жизнь, властвует человек, считая себя чуть ли не царем Вселенной.

Об этом он давно знал, так давно, что успел забыть. А сейчас будто заново все открыл — удивился. Но ведь и на самом деле удивительно: жизнь тесно сжалась в пленочке. А если в пленочке, значит, не прочно. Очень не прочно. Над пленочкой — огромная холодная Вселенная...

Машину он вел автоматически, иногда поглядывая на приборы. Она послушно исполняла его малейшее желание, была легка в движении, маневренна. Если бы и все в жизни так легко и послушно было. Не жизнь была бы, а приятная прогулка.

Машину он купил год назад. Бросил журналистскую работу. Журналиста из него не получилось. Потом еще это дело с Олегом. Он пытался помешать Олегу, а получилось — нажил недоброжелателей, попал в число завистников. И, наверное, что греха таить, таков он и есть на самом деле. Самому себе-то можно признаться. Больше никому, даже Тоне. Ей тем более. Она еще верит в него. Но сам-то он давно понял: ничего стоящего сделать не сможет, а на нестоящее нечего время тратить. И нечего обманывать себя. Только дураки тешатся несбыточными надеждами.

Стал искать выход. Не мог же он родиться без таланта. Талант у каждого есть, надо только его угадать.

Еще работая «в штате», он умел — и за это всегда получал выговора — заработать там, где другие не видели денег. А ведь это тоже талант. Кто-то лучше его может бумагу марать, у него получалось хуже. Зато другое отлично выходит.

Все взвесив, перешел в фотографию. Берет заказы, подряды солидных организаций. Появились деньги. Через год позволил себе купить машину. Правда половину тесть помог. Но постепенно рассчитается с долгами. А машина уже работает на дело. Когда под ним колеса, коэффициент его полезного действия возрастает втрое.

Иногда пишет, чтобы не терять имя, чтобы смотрели не как на шабашника, а как на журналиста. Имя помогает в теперешней его работе. Мосалов? А это тот самый Мосалов, который... И он уже принят, как положено, как ему нужно. А остальное дело техники.

Теперь даже Олегу не завидует, хотя Олег и многого достиг. Слава — дело пустое, если не подкреплено деньгами. А у Мосалова теперь деньжата завелись. Вот только с сыном решить, и он сможет считать себя счастливым человеком.

Мысли снова перекинулись на Лешку. Надо предупредить этого чудака на скотовозе, что его хотят надуть, собираются навязать ему трех чужих ребятишек. Лешка тоже не его сын. Пусть думает, на что идет.

А жалость — дело пустое. Он будет жалеть Женю, а его кто пожалеет? И почему он должен отдавать сына в чьи-

то руки? Это же несправедливо, с какой стороны не посмотри.

И потом, он пожалеет не Женю, а этого водилу. Ведь Мосалов спасает его от ошибки. Ведь Женя хочет его надуть. Обычная женская уловка. Мосалов это изучил на Тоне. Та, если ей что нужно, так обставит дело, что не задумываясь, проглотишь живца и только потом, задним числом, дойдет, что обманут. Но уже и сердиться поздно.

Так и этого олуха Женя хочет нагреть: поездил — и забирай, твой сын.

Если сейчас не расстроить эту свадьбу, Лешку ему не видать больше. Уедет Женя со своим «выводком» к этому чудаку, и все. Как потом к ним приедешь? В качестве кого? Друга семьи?

Мосалов улыбнулся, вспомнил случай, который произошел с его соседом по квартире. Живут они через стенку, хотя в разных подъездах. Знакомы давно. Современная звукоизоляция квартир заставила познакомиться. Благодаря ей все можно услышать, что делается за стенкой.

Мосалов как-то обратил внимание, что с некоторых пор в их дворе стала останавливаться черная «Волга». Никогда таких не было. За рулем явно не шофер.

Где-то месяца через два машина перестала появляться, а за стеной начал раздаваться странный смех соседа. Так смеются люди при нервном потрясении. Мосалов, не выдержав, зашел узнать, в чем дело. Борис поделился с ним своим «весельем».

Тот, кто ездил на черной «Волге», оказался другом семьи. Когда-то начинали на одной работе. Борис вскоре перешел на другую, а «друг семьи» дослужился до области, но Бориса не забывал, заглядывал.

И вот как-то возвращается сосед с рыбалки, ездил на два дня, на выходные, а дома новость: «друг семьи» увез жену с меньшим сыном в Москву — получил туда назначение. Старшая дочка, она училась в девятом классе, не поехала с мамкой.

Жена оставила Борису записку, что на квартиру и мебель не претендует, поступает по-порядочному.

Рассказывая все это, сосед смеялся тем смехом, который так удивил Мосалова. И еще поделился одним секретом: жена в прошлом году сделала операцию и рожать уже не сможет. А «друг семьи» об этом не знает и будет растить его сына. Своих детей у него с ней не будет.

Однако в конце, перестав смеяться, Борис совершенно другим голосом, раздраженно и зло сказал: «Он долго с ней не проживет. Она на московскую квартиру позарилась. Пусть. Но придет назад, а она придет, вот увидишь. Я ее на порог не пущу!»

Угроза прозвучала не убедительно, легковесно. Сосед сам не верил в то, что жена вернется. В самом деле, кто же поедет из Москвы, бросит московскую квартиру? Если даже «друг семьи» и не станет с ней жить, ему придется оставить квартиру ей.

Мосалов сочувствовал Борису, возмущался и недоумевал: зачем нужно было рушить благополучие хороших людей? Что это, любовь? Вряд ли! Скорее распущенность. Он знал жену Бориса, она далеко не красавица.

Мосалова раздражали такие, как «друг семьи», — молодые, да ранние, кто запросто шел в верха. Напрасно им туда дорогу открывают. Пусть бы внизу помучились, чтобы с них эта дурь сошла, а потом уже с трезвым умом можно и выше пускать...

Отмахнулся от ненужных мыслей, которые только расстраивали. Своих проблем хватает.

Зачем он вспомнил этот случай? Забыл. Только прокрутив все с начала, уловил: если Женя с Николаем сойдутся, ему надо будет, как и «другу семьи», сблизиться с Николаем и увезти сына.

Но тут же скептически улыбнулся своей фантазии: ничего не получится, сын — не женщина, за него в суд подадут. Да и Лешка не поверит, что Мосалов ему папка.

Любой из вариантов — пустой номер. Единственное — предупредить шофера и таким образом помешать свадьбе.

Скотовоз стоял на тракте возле «Позной» в одной из деревень. Собственно, деревня была в стороне, вдоль тракта протянулась неполная улица. С другой стороны к дороге подступала тайга. «Позная» — обыкновенная столовая, где про-

езжие могли пообедать. Всего один раз Мосалов ел здесь позы. В восторге он от них не был. Лучше взять казенные щи, без претензий на деликатес.

От входа справа отгорожен буфет, где продавали талоны на обед. Дальше широкое окно раздачи, через которое видна вся кухня, вся технология приготовления обедов. Из широких бачков наливали первое, из бачков поменьше — второе. Из закопченных грязных чайников — сразу сладкий, на десять рядов прокипяченный чай, такой густой, что сквозь марлю цеди.

Николай сидел за угловым столиком. Он уже поел и ожидал встретившихся здесь знакомых шоферов. Мосалов посчитал неудобным тотчас подходить к нему. Взял второе и компот, чай брать не рискнул, опустился за столик у входа. Дождался, когда Николай проходил мимо, остановил:

— Присядь на минутку, разговор есть.

Шофер в недоумении, но послушно опустился на край стула. Молчал выжидающе-нетерпеливо.

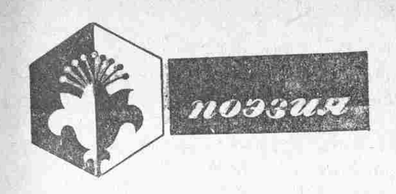
— Я почему тебя спрашивал, давно ли ты к ним ездишь, — Мосалов помедлил.— Дело в том... Не знаю, что тебе говорила Женя, но я предупреждаю — Лешка мой сын.

Мосалов наблюдал, как меняется выражение глаз шофера. Сначала они расширились, как от испуга, а потом нижние веки поджались и ресницы светлые, выгоревшие на солнце, сошлись, будто он прятал свой страх, чтобы Мосалов его не заметил, и от этого напрягся, аж глаза прищурил.

Но ответ явно озадачил Мосалова:

— А зачем мне это знать — чей он?

(Окончание следует)





Лидия Кринберг

Три стихотворения



Суета провожаний на мокром перроне,
Смех... Гитарный аккорд в перехлесте страстей...
И слезинки дождя на окошке вагонном.
И слезинки в ресницах сестренки моей.

И в последнем прощальном горячем объятье,
В неизбывность молчания выплеснув крик,
Вдруг открылся как вечность весь мир необъятный
И застыл, словно Сфинкс, завороженный, миг.

Миг застыл! Обнажив неизвестное в тайном,
Открывая душе и значенье, и смысл:
О, прекрасна, как жизнь, эта горечь молчанья,
И светла, словно жизнь. И горька, словно жизнь.

. . . .

Стук колес, и вагона дыхание сонно.
В зыбком мареве ночи мельканье огней.
И слезинки дождя на окошке вагонном,
Как слезинки в ресницах сестренки моей.

□ □ □

Ай, закрутил меня вихрь крутой!
Ай, закрутил да понес по-над лугом!
Ай, да лечу над землей золотой,
Ветер в лицо бьется птицей упруго!

Ай, да куда же несешь меня ты,
Яростным штопором врезавши небо?
Ах, как зовет беспредел высоты!
В денную быль и нощную небыль?

Ай, да беснуется огненный смерч,
Всполохи искр на лету рассыпая...
Вечная Высь? Или верная смерть?
Или полет без конца?.. Я не знаю...

□ □ □

Свистела ночь, поземкой била хлестко
В глаза мои, ослепшие от слез...
Вдруг вспыхнул утоляюще — и грозно
Лик Твой смиренный, мученик Христос!

Вдруг вспыхнул Лик! И на мгновенье время
Остановило неустанный бег,
И рухнуло отчаяния бремя.
И вечность распахнула створы век.

И снова хлещет ночь поземкой дикой,
Предназначая многое на слом...
Но отчего так веет земляникой,
Зовет сверчковым звоном отчий дом?

Лидия Ермолаевна Кринберг родилась в г. Салаире Кемеровской области. По национальности — эстонка. Окончила театральное отделение Красноярского культурно-просветительного училища. С 1973 года живет в Иркутске. Работала художественным руководителем Дома культуры завода им. В. В. Куйбышева, режиссером театральных коллективов. В настоящее время — директор областной детской и юношеской филармонии.

Публикуется впервые.

Анатолий Бурый

□ □ □

Осеннюю голую даль
с холма открывает дорога, —
в пейзаже любая деталь
раскрыта классически строго.

Обрывистый скат берегов,
кустарник болотный и хилый,
вороньи пиры у стогов —
все дышит пронзительной силой.

В дремотном плену тишины
безмолвствуют долы и воды,
лишь жалобы хвои слышны
на скуку осенней природы.

Любимый, немеркнущий вид,
да разве ты можешь наскучить?!
Пускай из невидимых сит
штрихован дождем ты секучим.

Пускай темно-серым платком
все небо надолго закрыто,
и солнце случайным мазком
не может сменить колорита.

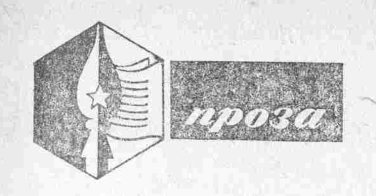
ВОРОНЫ

(ироническое)

Заседание ворон
в заметенном вьюгой поле.
Снег значками испещрен,
как страница в протоколе.

А регламент очень прост
ассамблеи этой жаркой:
если есть больной вопрос,
то подпрыгивай и каркай.

Анатолий Леонидович Бурый родился на прииске Кочура Кемеровской области. Закончил Иркутский медицинский институт. Работает на иркутском релейном заводе. В альманахе «Сибирь» публикуется впервые.



Помню, с каким трепетом и волнением я ожидал свою первую публикацию в журнале. Пожалуй, волнение это сравнимо с ожиданием рождения в семье первого ребенка. Какой он будет? Что скажут о нем люди?

Мне довелось читать рассказы В. Кайкова в рукописи, и чем-то они напомнили мои литературные опыты—те же робкие попытки шагнуть самостоятельно, когда многое делается из подражания другим. более умелым и опытным. Но в данном случае при чтении рукописи подкупали искренность, знание жизни, юмор. Все это вместе говорит о нравственном здоровье автора и его умении видеть все в неожиданном ракурсе. В свое время, напутствуя, мне говорили: «Занятие литературой — путь зыбкий и тяжкий». И сейчас я могу подтвердить — да, это так. Хочется пожелать Владимиру Кайкову, чтобы он побыстрее нашел свою дорогу и ступал по ней твердо, как подобает взрослому человеку.

В. ХАЙРЮЗОВ

Владимир Кайков

КАТЫНСКИЙ ЛАПОТЬ

РАССКАЗЫ

У Федора Григорьева была кличка Катынский Лапоть. Лицо его, от переносицы до подбородка, рассекал глубокий дугообразный шрам, отчего хозяин казался суровым и неприветливым. Об этом «приобретении» Федор рассказывать не любил.

А дело было так...

Купив первый на селе лодочный мотор «Вихрь», он решил его опробовать. Отпихнувшись шестом и выведя лодку на течение, стал дергать резиновую бобышку стартерного шнура. Мотор, пофыркивая, изредка выпускал из сопла сизую струйку дыма.

Мужики, собравшиеся поглазеть на новинку, давали с берега советы:

— Подсоси, подгазуй, проверь карбюратор.

Течением сносило лодку, но Федор опять брался за шест и возвращался на исходную позицию, отвечая мужикам:

— Свой сначала купите, потом советуйте.

Вдруг мотор взревел медведем, лодка, накренившись, рванула вперед, оставив хозяина за бортом, и, как заведенная детская игрушка, стала описывать круги. Сбросив телогрейку и сапоги, Федор пытался зацепиться за борт, но на одном из поворотов винтом рассекло ему лицо. Вытащили его мужики. С опаской поглядывая на мотор, он все же нашел силы пошутить: «Ну зверюга. Долбанул, аж каменья полетели!»

Деревня Порог обняла крепкими домами высокий берег, растянулась крышами домов, как меха гармони разудалого гуляки парня. Почти у самой кромки находился речной порог, выступающий острыми зубьями над поверхностью воды. Река гремела каменной утробой, выражая недовольство возникшей преградой на ее пути.

Осенью, когда налетали северные ветры и по реке шла шуга, дома переговаривались скрипучими калитками, тяжелыми вздохами печных труб, вспомина-

ли летнее тепло.

На противоположной стороне реки, подбоченясь как сварливая теща, стояло село Привольное, гордясь своим простором, тем что строилось как душе хозяев задумается. Посреди села нависли тучей тополя, в середине лета одевались они в белый праздничный наряд. Тронет ветерок — и понесет над домами, улицами, проулками крохотные парашютики.

В такое время берег напоминал облинялый бок собаки от скатавшегося и потерявшего приглядность пуха.

Села были крепко связаны канатной нитью, по которой, как сводня, туда-сюда, бегал паром.

Если невесты находили общий язык, то парней, наоборот, мир не брал, ссорились из года в год.

Федор Григорьев работал паромщиком, а осенью и весной уходил добывать орех. Он сам сочинял частушки и, подгуляв, напевал:

Эх, девочки, да сыроежечки,
посолил бы я вас, да нету дежечки.

Молодые годы Федора прошли буйно, бивали его не раз, как он говорил: «За крепкую любовь».

Когда дела у него не ладились, особенно после ссоры с женой, он пел:

Лапти были и сгорели,
а штраховки не дают.

Вырос он в селе Катынь. Родители его и почти вся родова занимались лаптежным делом. Затащила его в Порог смуглолицая красавица Евдокия. Вспоминая это, он теплел душой: «Ох, и девка была, забодай ее комар, пилорама моя».

Бойкая Евдокия, горластая, спуску никому не давала. Бабы так ее и окрестили «хайкой». Федору, если он приходил навеселе, от нее перепадало изрядно.

— Опять нализался, чтоб ты околел, скотина!

— Ах, Евдокия, канифоль твою мать! Я не скотина, а с Катына. Доведешь ты меня до белого каления. Хужее нет ничего, когда на тебя твоя же собака лает. Я же к тебе, моя милая, со всей душой... Вот виктролу хочу купить, песни будем слушать, известия.

И не оставляя дело, купил радиолу всей деревне на удивление. А Евдокии нет бы обрадоваться, скандал закатила, растопырив руки крыльями, закружилась вокруг мужа.

— Изувер, деньги сунул черту в гриву. Два года мечтала к Леньке в гости съездить. Приедет в отпуск, все ему расскажу! — Ленька был их средний сын, окончив военное училище, служил где-то на Востоке.

Федор терпел, терпел, затем схватил радиолу и саданул ее в окно: зазвенели стекла, и покатился новый полированный ящик по двору, хлопая крышкой от проигрывателя, будто глотая воздух от удивления и обиды.

— Все порублю и тебе покажу, как супротив мужа идти. Щас с тебя каменья полетят!

Выглянув в окно, он увидел своего любимого пса Бельмондо, который обнюхав радиолу, задрал на нее лапу. Федор перебросился на кобеля.

— Ну-кось, цыц, холера одноглазая! И ты туда же, канифоль твою собачью душу!

В собачьих передрягах кобелю порядком доставалось, а на одном глазу было бельмо, за что, собственно, он и получил эту кличку.

Бельмондо свое дело справил и с поджатым хвостом сиганул в конуру.

Федор как-то сразу сник, вышел во двор, собрал останки проигрывателя, бережно завернул в тряпицу блестящие лампы и отнес через дорогу старику Щедрину.

— На, Иван Аркадьевич, можа, сгодится в хозяйстве. Внуки с городу приедут, пущай разбирают. Уронил, вот понимаешь, случайно, — оправдывался он.

Дед Щедрин был высокого роста, с большой окладистой бородой, напоминал высохший на корню кедр. Всю жизнь он проработал в лесхозе, а став пенсионером, большую часть времени проводил на койке — давала о себе знать рана, полученная в первую империалистическую войну.

Лицо Ивана Аркадьевича отражало все его настроения, когда он слушал кого-нибудь, морщинки на лбу выступали резче, что говорило о внимательности к собеседнику, а если был огорчен, то морщинки разглаживались, лицо станови-

лось отчужденным и как бы не принадлежавшим ему.

Федор заходил часто к старику попроведовать, перекинуться словом. Он был для него как успокоительное лекарство, особенно после ссоры с Евдокией.

— Вот ты мне скажи, Аркадьевич, отчего так: жена-сатана, а мать-святыня?

Старик кряхтел, думал, потом делился с Федором мыслями.

— Палка о двух концах, так же и жизнь: с одной стороны — хорошо, а с другой худо. Вот ты свою Евдокию попробуй лаской возьми. Не поймет ведь тебя она, холера, не привыкла к этому, а детей твоих на ноги поставила. Я ведь тебя, Федор, еще мальцом помню. Забыл, однако, как тебя мальцы дразнили: «Как на той стороне стоит балаганчик, Федька сопли продает по рублю стаканчик». Не раз тебя батька твой, Влас, за ухо подымал. Так всю жизня и скачешь кузнецом-удальцом.

Федор обижался, но не подавал виду. По-детски шмыгая носом, вставал, прощался и уходил. Но обиду на старика не держал.

Обычно после ссоры с женой, Федор дня три не показывался на улице, зная, что ему промывает косточки Евдокия, закатав рукава, показывает каждой встречной старухе синяки.

— Глядите, люди, что мой опухляк со мной содеял. Бил жену денечек, будет у меня плакать годочек, — грозилась она.

Федор больше всего любил рассуждать про жизнь, и не только рассуждать, но и действовать.

Однажды написал он письмо и послал в газету.

«Пишут вам не жалкие трусы в основном, а пишут люди сердешно верящие в справедливость. Ведь с начала 55-х годов в партию брали всех для партийного росту, и поток дельцов устремился как горная вода для личной жизни — поживиться за счет государства, в основном ворье.

До боли в душе жалко нам нашу родину Россею, которую топтали поганье, рвали на клочья фашисты, нашей чистой кровушкой политую.

Глядели мы долго и думали, ведь внутренний червь грызет нас, надо принимать быстрые действия — убирать заворовавшихся, заевшихся.

Нам привили чуждую веру, культуру, кто? Это тот товарищ, што занимает теплое место, тот кто вбивает в грязь русских мужиков с большим умом. Это тот гражданин, што меняет кожу, как мелкая зверюшка-змея, когда наступает нужное время. Ведь мильоны тащат. Вот когда же к этим-то зверюшкам будут приняты меры.

Чужая вера, чужая культура, а где же наша, российская? Где борец за справедливость? Прячемся как серые мыши при виде жиреющего кота. Почему мы не можем, когда нас грабют, выразить свой протест, выйти как в старые времена, остановить работу. Вот тогда бы дело пошло, и виновные нашлись бы сразу. Поймете вы, но поздно будет».

Федор-партейный

Что потом было, Федор не вспоминал, но с партийным билетом пришлось расстаться, после этого и активность его стремительно упала. Но по-прежнему ни одно мало-мальское дело не обходилось без него.

Постарев, он часами находился на берегу реки. Было у него место, шутя он его называл «Театральная площадь». Местные мужики, освежая горящее нутро, на этом месте опохмелялись единственным дорогим одеколоном, который продавался в сельпо — «Кармен». Прозрачные бушлаты из-под этой жидкости часто встречались среди речных наносов и прочего хлама.

— Гнильем от вас, мужики, несет,— ругался он.— Опять за свое. Пошто нутро заразой поганите. Из-за таких, как вы, государство стонет. Взял бы дрын подлинней, чтоб каменья с вас полетели.

Мужики с недовольным видом покидали обсиженное место, наскоро рассовав одеколон и стаканы по карманам.

— Встретисся ты нам, мы тебя с лихом познакомим, — ворчали они.

Федор садился на свою лодку и утыкал взгляд в сторону верховьев. Лицо его при этом становилось задумчивым. Прихрамывая, подходил к нему Бельмондо. Виновато прижав уши, он присаживался рядом с хозяином.

Бывало, сидят рядом: хозяин, о чемто глубокомысленно размышляя, а Бель-

мондо зализывает раны, полученные в очередном неравном бою, из которого вышел победителем.

К этому месту обычно причаливали туристы, закончив свои многодневные скитания по горной реке.

На плотах и на байдарках они сплавлялись от Тофаларии до Порога и дальше уезжали на автобусе, упаковав свой скарб в рюкзаки.

Как всегда, при укладке амуниции, многие предметы оказывались ненужными. Федор думал иначе: «В хозяйстве все сгодится». Одаривали они его щедро: дырявыми котелками, тупыми топорами, рыболовными снастями с изорванной леской и погнутыми крючками.

— Вона гора Богатырь, — махал он рукой. — Отчего так зовется не ведаю, видно по размеру большая. Народ зазря ничего не назовет.

Если туристы доставали маршрутные карты, Федор оживлялся, заскорузлым пальцем водил по ниточке реки.

— Вот здесь опасное место — шивера. А вот Щедринский брод, ежели хотите, могу сводить к старику. Покуда живой хозяин брода-то, все вам обскажет.

И заинтересовавшиеся туристы, взгромоздив на плечи рюкзаки, шли с Федором к старикам Щедриным.

Федор шел гордо, размахивая руками, отвечая кивками на приветствия односельчан.

— Опять ты, Кфедор, за свое взялся, — шамкая беззубым ртом, ворчала старуха. — Не стыдно тебе хворого старика беспокоить. Тебя надо вместе с твоим Бельмондо на одну цепь присаживать.

Федор отмахивался от нее, как от назойливой мухи, давая понять: не до тебя, старая, и проходил в дом.

— Мы вот по какому делу пришли к вам, Иван Аркадьевич, — начинал Федор. — Товарищев вот интересует история нашего края. Отчего вашей фамилией назван брод на реке?

Федор делал паузу, внимательно посмотрев на деда, продолжал:

— Расскажи им, Иван Аркадьевич. Люди с Ленинграду, хорошие мужики.

Поймав недовольный взгляд Ивана Аркадьевича, бабка суетливо стала подавать табуретки, с кухни вытащила скамью, похожую на упрямого козла. Туристы окружили койку старика, достали блокноты и авторучки, приготовились слушать. Бельмондо прилег у ног хозяина и на вытянутые лапы положил одноглазую морду.

— Ну что ж, расскажу я вам эту историю, — задумчиво начинал старик. — Это уж народ брод-то нашей фамилией окрестил. А было это года через три после революции. Голодное время было. По своей надобности отправился я на коне в город. А это верст пятьдесят. Прошли дожди, дорогу сильно развезло. Возвращаться пришлось дней через пять. Жили мы тогда на промысловике. Мой отец добротный там дом поставил. Вы, однако, проплывали то место, шивера там буйная, — Иван Аркадьевич пощупал глазами туристов, морщинки вокруг глаз стали глубже. — Моя Лукерья тогда приболела, осталась дома с детьми. Я сильно беспокоился — трое тогда у нас было, мал мала меньше. Парома в ту пору не было. Переправлялись на плотах и на лодках. И вот еду я и думы гадаю, — продолжал старик, — как буду переправляться? А представлю — душа так и стонет. В городе хлеба выменял на мед. Пасека у нас была — кормилица наша. Во время коллективизации колхозная стала. Думал загубят, боялся. А ульи мои до сей поры исправно служат. — Дед улыбнулся, затем продолжил свое повествование: — Почти до самого дома добрался по этой стороне. Уже темнело. Гляжу на свой дом и ничего поделать не могу. Думы разные нехорошие в голову лезут.

А река мутная, несет с корнем вывороченные деревья, показывает свою силу, редко так она прибывает. Берег сильно подмыло... До этого знавал я одно мелководье, чуток выше от дома, дай, думаю, попробую. Подогнал коня, а он у меня с норовом был, упирается, не идет. Кому ж охота не своей смертью погибать. Кнутом стал его подбадривать, с трудом расшевелил. А как вошли с ним в эту жуть, он обратно — на дыбки подымается. Я с ним, как с человеком, беседу повел: «Давай, голубок, дети там у меня». Успокоился он, как-то сник, будто понял меня. Тронулся, осторожно так идет, фыркает. Я рядом за уздечку держусь. Вода своей упругой силой несколько раз с ног сшибала, но

конь удержал. Еще у самого берега оступился — нога подвела — ранение у меня с империалистической. — Дед погладил себя по больной ноге. — Опять доставляет хлопоты, — закончил он.

— Покаж им, Иван Аркадьевич, — обратился Федор к нему.

— Чо покаж? — не понял тот.

— Ну ногу-то, пущай глянут. Дохтор тут средь них есть. — И Федор указал на одного рыжебородого туриста.

Дед смутился. А Федор, не спрашивая разрешения, задрал гачу на ноге Ивана Аркадьевича.

— Осколком вот сюды шарахнуло,— давал пояснения он, водя пальцем по глубокому рубцу.

Бельмондо, приподняв морду, с каким-то собачьим состраданием глянул на рану и, вильнув хвостом, подошел к старику и лизнул изуродованную ногу.

— Поспрошайте Ивана Аркадьевича, он вам не то еще расскажет, — шептал на ухо туристам Федор. — Силен мужик!

— Вот Федор Власович нам рассказывал, что вы партизанам помогли, — сказал доктор, осматривая больную ногу.

— Это когда каппелевцы здесь проходили, — продолжил прерванное повествование Иван Аркадьевич. — Пришли ко мне однажды партизаны, командира у них Конопляником кликали. Помоги, мол, Иван Аркадьевич. Слыхали, ты брод знаешь. Показал я им, помог, а они потом смело переправлялись в этом месте. Бандиты все переправы под охраной держали. Потом и народ потянулся к этому броду после установления нашей власти.

— Фамилия довольно интересная — Коноплянник, — поддержал разговор молодой парень.

— Да это особая история,— кивнул головой старик. — Был он из бедных, настоящую его фамилию запамятовал. А за что кликать так стали, точно знаю. Есть такие люди среди нас, к которым, как к огоньку в зимнюю стужу, все тянутся. Вроде не видный, а душа нараспашку. Вот и он таким был. Подловили его, поставили к бревенчатой стене. Он голову свою повернул в сторону родного дома, чтобы, значится, попрощаться, в это время по нему и стрельнули. Он как скошенный в коноплю повалился. Проверять не стали, жив не жив, повернулись и ушли. Подобрала его бабка Настасья, сердобольная старушка, выходила. Пока он в беспамятстве лежал, она его Конопляником кликала, имени его не знала, так к нему и припеклось. Пуля-то навылет обе щеки прошила, зубы повыбивала. Метка ему на всю жизнь осталась.

Отрядик был у них маленький, но неприятностей много доставляли, засады устраивали. С боекомплектом у них тогда худо было, кто чем вооружен. Помогал я им патроны доставать. Бандиты, когда бежали, бросали целые обоймы, торопились. Плохому ходоку-то лишний груз в обузу. Находил я помногу. Отец Федора, дед Влас, был первым помощником командира. Смолоду мы с ним в друзьях были. Вот ему я и передавал. Это он насчет брода подсказал сотоварищам.

— Мой отец говаривал, что благодаря этому броду живы остались. Спас Иван Аркадьевич многих от верной гибели. Белые их тогда здорово теснили, — дал пояснение Федор.

После рассказа некоторое время царила тишина. Рыжебородый врач что-то старательно дописывал на бумажке, потом протянул ее старику.

— Вот, Иван Аркадьевич, пусть баба Луша в аптеку сходит, попробуйте эту мазь, должна помочь. В Ленинград бы вас, ко мне в клинику, там подлечили бы...

— Спасибо, мил человек, куда ж мне, помирать пора. Одной ногой в могиле стою. Это ж сколько лет-то прошло, как мне немец ногу продырявил, поди, уж и не припомню, а все беспокоит.

Туристы, попрощавшись и поблагодарив, засобирались в дорогу.

— Медку, медку-то отведайте, соколики,— засуетилась Лукерья Филипповна, входя в дом и неся перед собой большую алюминиевую миску с золотисто-солнечными сотами.

Гости смутились. Рыжебородый глянул на часы.

— Ну, коль торопитесь, дак хоть на дорожку возьмите-то. Без угощенья не отпущу.

— Берите, берите — права Лукерья. Медок у нас особый, таежный, все хвори враз лечит, — поддержал бабку Иван

Аркадьевич. Туристы со смущением приняли гостинец.

— Пойдемте, я вас на пароме переправлю хоть седня и не моя смена, — вызвался Федор. — Хорошим людям завсегда рады.

Бельмондо присоединился к компании туристов, весело помахивая жидким хвостом. Пробегающие собаки сторонились их, а те, которые были на привязи, подняли истошный лай — так они приветствовали великого артиста.

На берегу, недалеко от парома, грели свои смолистые днища рыбачьи лодки. Местные мальчишки на каждой из них намалевали названия по прозвищам хозяев: «Шустрый», «Бес», «Шоня». Была среди них и Федора — длинная, тяжелая, вырубленная из сырого листвяка торпеда. Ее борт украшала корявая надпись: «Катынский лапоть».

Вот и паром. Туристы поднялись на мостки. Федор сбросил швартовочные цепи, отпихнулся длинным багром и подошел к рулю. Паром вошел в течение: трос дал натяг — загудел, будто струна огромного контрабаса. Зашумела, заговорила внизу вода, ролик плавными рывками побежал к другому берегу.

А там уже кричали нетерпеливые:

— Федор Лапоть катынский, давай паром.

— Молодежь балует, обратно с синяками повезу,— пояснил Федор туристам. — То насчет лома спрашивают — проплывал али нет. Приходится и битых возить, — с улыбкой произнес он, — дело молодое...

Бельмондо паром не любил. Подгулявшая молодежь часто сгоняла его в воду. Поэтому он остался на берегу, отсюда наблюдал за своим хозяином и терпеливо его поджидал.

Монотонно гудя, прошла моторная лодка. С берега казалось, что она вот-вот заденет паромный трос. После нее волна долго еще накатывала на берег. Вдали виднелась гора Богатырь. Ее тяжелый каменный выступ опускался в речную гладь. Казалось, что уставший великан жадно приник к воде губами. Опускался оранжевый шар за высокую макушку этой горы, шаловливо загулял ветерок, мелкой рябью тревожа поверхность реки. Кто-то из молодых дразнил эхо, пуская свой голос по воде:

— Кто украл хомуты!

— Ты — ты — ты — ты...

— Как на той стороне лошади — коровы.

— А на этой стороне милый чернобровый, — подцепил молодежь Федор.

А туристы стояли и слушали чудаковатого Федора, распевающего частушки, и, оттолкнувшись от его приземистой фигуры, смотрели в сторону верховьев, любуясь на прощанье красотой таежных мест, стараясь надолго запечатлеть их в своей памяти.

МАГНИТОФОН

БЫЛЬ

О магнитофоне Федор впервые услышал от брата Иннокентия, когда тот из города приезжал навестить стариков родителей. Иннокентий долго и пространно объяснял возможности агрегата, невиданного доселе его близкими родственниками. При этом сокрушался, что не взял новинку с собой.

Федор на клочке старой газеты, тщательно мусоля химический карандаш, для памяти записал название и теперь, как заклинание, часто повторял: «Махни-тофон».

Бывало, работает, отложит в сторону топор, уставит глаза в небо и начинает вспоминать. Но, как назло, название тонуло, будто рыбацкий поплавок, и в нужный момент терялось где-то в глубинах памяти. Федор хмурился, становился нервным и, помаявшись, спешил на обед.

Дома из-под материных образов доставал обрывок газеты и тут же, еще не посмотрев на запись, вспоминал: «Махнитофон».

— Тьфу, что за наваждение!.. Хочу мужикам рассказать, а оно всегда забы-

вается. Всплывает в голове тогда, когда не надо,— жаловался он жене Настасье. — Все одно куплю! Разорюсь, но справлю эту штуку.

— На кой она тебе сдалась,— подавая мужу на стол парящие щи, ворчала она. — Дети вона большие, в обносках ходют, а ты заладил: махнитофон ему подавай. Совсем совесть мужик потерял. Это ж деньги стоит.

Федор с грохотом бросал ложку на стол. Ничего не говоря, собирался и уходил на работу.

«Дура баба, — думал он, ругая жену. — Не для себя ж стараюсь... С мотоциклом пока погожу, но эту хреновину куплю». Опять забыв название и окрестив агрегат по-своему, Федор рассуждал: «Дети поймут, простят отца...»

В один из дней, придя домой, он торопливо засобирался в дорогу.

— Куды? — спросил его отец.

— В город, к Иннокентию. На три дня отгул взял.

Старик, опираясь на деревянную палку, внимательно глядел на сына.

— Чо, Федор, кобенишься? Знаю тую необходимость! Настя жалилась. На кой леший он тебе сдался? Деньги собаке под хвост сунешь, — предостерег он. Но, видя решительность сына, махнул дряблой рукой и сел на лавку у дома, где целыми днями грелся на солнышке.

И вот три дня позади. Мутырины встречали Федора. Автобус, который приходил один раз в день под вечер, появился на окраине села. Обляпанный грязью, словно поросенок, он не подавал сигнал, а повизгивал, извещая о своем прибытии. Подкатив к клубу и чихнув, автобус остановился, и со скрипом открылась дверь. Из нее, утомленная тяжелой дорогой, вывалила пестрая толпа. С покупкой из города вернулся киномеханик Валька Козырь. Бережно прижимал он к груди новый аккордеон, отливающий веселым перламутром. Потом, пыхтя, вылезла пышная бабка Авдотья с двумя большими узлами. Наконец, появился Федор, держа в руках большую картонную коробку. Он улыбнулся, словно ребенок, и огляделся по сторонам. Дети подбежали к отцу. Сын Серега схватил покупку и, будто не чувствуя тяжести, понес ее. Федор не спеша шел рядом. Его живые глаза на худом лице так и отдавали удовольствием. Следом за ним семенили жена Настасья с дочкой Маринкой.

Когда покупка была доставлена домой и поставлена в красный угол под материны иконы, в избу вошел, опираясь на палку, дед.

— Здорово, сын! Говаривай, как там Иннокентий? — начал он издалека, будто совсем не интересуясь приобретением сына.

— Живет помаленьку. Обещал приехать вскорости.

— Ну, показывай свой сепаратор или как там его величают, — не сдержался старик.

— Магнитофон, — поправил внук Сергей.

— Не лезь, когда старшие говорят,— осек дед внука.

Федор вытащил агрегат, отстегнул никелированные застежки, размотал шнуры. Новая вещь приковала к себе внимание домашних.

— С Иннокентием ходили, из трех один выбрали. «Яуза» называется, — колдуя над магнитофоном, говорил Федор.— Козыря в городе встретил. Аккордеон он купил. Вот записал немножко. — И, включив магнитофон, он отошел в сторону. Полились чудные переборы Вальки Козыря. Музыка заполнила весь дом Мутыриных. Федор ликовал.

— А теперь я вам покажу, на что он способен.

Достав микрофон и подключив его, он стал давать указание:

— Ты, отец, как я включу, начинай говорить. А вы все затухните. Чтоб ни гу-гу...

Когда катушка закрутилась, водворилось молчание, только слышно было, как большая муха бьется о стекло, ища выхода на улицу.

Федор подбадривал отца:

— Ну, ну, ну, чо молчишь?..

Пауза затягивалась. Сын уже собирался выключить магнитофон, когда отец зашамкал беззубым ртом.

— Ну, давай! Давай, батя, говори,— настаивал Федор.

Старик рассеянно зашарил глазами по сторонам. Увидев кота, он уставился на него и вдруг ни с того ни с сего замяукал. Внук, открыв рот от удивления, смотрел на деда. А он меж тем залаял.

Потом закричал изюбром. Стараясь подражать лесному красавцу, он сильно напрягал голосовые связки. Невестка не вытерпела, прыснула и выскочила во двор. Федор, выключив магнитофон, укорял отца:

— Эх, батя, батя, зачем насмехаешься? Ведь это твои правнуки слухать будут. Лучше расскажи про свою жизнь. Про родителев своих.

Дед Тимофей, откашлявшись, начал:

— В ранешние времена отродясь таких сепараторов не было. Шти лаптем хлебали. Мой отец был батраком. Гнул спину до семи потов... Счас жить стало хорошо. Вот нас в семье было семь братьев и сестер. И у меня шестеро было. А у Федора двое. У Иннокентия теперича один... Жизня-то хорошая. А детей боятся заводить. Выходит, не из храброго десятка. А мне уже помирать пора. Две войны прошел. Ичиги свои скоро откину, — дед, покряхтев продолжил,— стар стал. То, что лаял, это так, для памяти. Помру, но ногой дрыгну. Батя мой так говорил, и я на том кончаю. Усе...

Родные прослушали запись, посмеялись над стариком. Но кто бы мог подумать, что старика скоро не станет. Умер он тихо. Ночью. Накрывшись с головой одеялом, чтобы не разбудить стоном родных. Федор, схоронив отца, сильно грустил. Часто вспоминал его. Включит, бывало, магнитофон, посадит рядом с собой ребятишек и слушает записанный голос, который звучит как живой.

«Куды жизнь такая крутая. Не токмо радостное цветение, но и утраты... Вы, мои внуки, уже подтянулись. Кто потом вспомнит меня, да отца вашего Федора-плотника, окромя вас? Полдеревни, почитай, в его срубах живет. Живите добром. Чтоб чтили вас. А ты, Маринка,— обращался он к внучке, — никогда не ворчи на мужа, как бабка и мамка твоя. Через это одни неприятности. Мужики от энтого горькой балуют. А ты, Серега, поезжай учиться. Хочу, чтоб ты охфицером стал. Землю нашу охранял... Махнитофон берегите. Потом помнить будете об деде и об отце... Лента ежели порвется, ты, Сергунька, ее уксусом склеивай. Так Федора Иннокентий научил... А эта козлиная музыка, что сейчас городские играют, только для нашей совхозной конюшни. Мерина Ваську забавлять. Простите за грубое слово... Об отце вспоминайте. Самые лучшие его срубы — это библиотека, больница и школа. Там он душу вкладывал в каждый узор... Сам я не учился. Тяжелое время было. С мужиками свои буквари на махру пустили. Вы уж не подкачайте. Не поминайте лихом... Усе...»

Федор дослушивал запись до конца, выключал магнитофон, аккуратно заворачивал катушку в лощеную бумагу и клал в материн сундук, где хранились семейные реликвии: альбомы с фотографиями, ордена и медали покойного отца, облигации, паспорта и метрики на детей. И думалось ему в такие минуты: «Надо бы и свой голос записать на ленту, чтобы детям и внукам память была...»

КАК ДЕД ЛИПУТА КОЗЛА КУРИТЬ НАУЧИЛ

Дед Липута, как всегда, с утра пораньше занимал свое излюбленное место на лавочке. Не спеша доставал кисет, отрывал клочок газеты и со смаком начинал сворачивать цигарку.

Деревня пробуждалась... Прошел пастух, подавая сигналы в рожок. Хозяйки выгоняли своих коров, и те, побрякивая колокольчиками, сливались в единое стадо. Пастух Яшка, звонко пощелкивая кнутом, подгонял нерасторопных.

— Эй, дед, вставай, пойдем с нами!

— Шутишь, Яков, мне уже за девяносто перевалило. Я свое отпас. Теперь вот сижу — детей пугаю.

— Э, дед, всем бы так прожить. Старуху, вона молодую привел.

— Я, милок, привык к семейному раскладу. Привык, чтобы кто-нибудь ворчал. Это для меня, как звуки твоего рожка.

Хлопнула калитка — вышла Аграфена

Матвеевна. Сердито взглянув на деда, проворчала:

— Опять расселся, старый мухомор...

— Вот, поди ж ты, созданье божье, скрипит, как не смазанная телега, — отреагировал Липута.

На своей лавочке он просиживал весь день. Наблюдал за жизнью деревни и философски подходил к любым событиям, происходившим в ней:

— Лето нынче хорошее. Однако, урожай будет на картошку, помидоры, огурцы. А я окромя картошки да табаку ничего не садил.

Липутин табак славился на всю деревню. Крепкий был самосад. Он охотно угощал им всех желающих.

Хозяйство у него было небольшое: один козел и четыре козы. Вот с козлом-то у него и вышла оказия. Дед ради шутки приучил его к куреву.

Все началось с того, что он поспорил с соседом, мол, его табак безвредный.

— Не бывает такого, Липута, чтоб эта отрава никакого вреда здоровью не принесла, — спорил с ним дед Евдоким.

— Ничего ты не смыслишь. Вот я девяносто годков живу, из них больше семидесяти курю. Закурю — оно меня бодрит.

Дед Евдоким был ярый спорщик, сумел задеть Липуту за живое:

— Мне девчушка Клавкина в газете зачитала, что эта-сь отрава губит все живое. Одна капля какой-то заразы в табаке убивает здорового коня.

— Ничего не соображаешь, Евдоким! Ты еще пацан по сравнению со мной. Я тебе еще раз говорю, что мой табак другой. Даже козе безвреден. Спорим на литру. Через месяц мой козел курить будет. Даже не чихнет.

Старики поспорили крепко. Евдоким даже обиделся. Верил он книжному делу.

Липуту месяц никто не видел. В деревне прошел слух, что он заболел. Аграфена Матвеевна ходила в магазин за провиантом.

— Никак дед захворал, — спрашивал Яшка-пастух.

— Да ну его! С утра подскакивает с постели, идет коз пасти. Цельный день с ними пропадает. Хозяйство все запустил: трава огород забила.

Прошел ровно месяц. Дед Липута с утра важно восседал на своем месте.

— Эй, постреленок, — обратился он к пробегавшему мальчишке,— сбегай, позови деда Евдокима. Скажи, я зову!

Тот пришел со свояком Трофимом и сыном Игнатом.

— Ну что, литра готова? — спросил Евдоким, подойдя к Липуте. — Мне одному много, я вот их с собой взял.

— Погоди маленько, не спеши. Спешить надо, когда блох ловишь.— С этими словами Липута поднялся и пошел к себе в сарай.

— Сейчас я вам цирку покажу.

Он на поводке вывел из сарая козла. Тот шел не сопротивляясь, заискивающими глазами глядя на Липуту. Хозяин ласково поглаживал его бока.

— Ну, теперь глядите!

Свернув цигарку прокуренными пальцами, Липута важно ее раскурил. Козел стал проявлять нетерпение, потираясь своими худыми боками о ногу деда.

— Смотри, Евдоким, даже скотина мой табак уважает. Видишь, как просит. — С этими словами дед аккуратно вставил в козлиную ноздрю цигарку.

Зевак собралось много. С большим любопытством все поглядывали на козла.

Козел курил... Смачно заглатывая дым через одну ноздрю, плавно выпуская его через другую. Потом, видимо, насытившись, он как бы чихнул, мотнув головой, недокуренная цигарка отлетела в сторону.

Евдоким, ничего не говоря, повернулся и пошел брать литру. Липута чувствовал себя победителем:

— Аграфена, накрывай на стол, Евдоким литру мне проиграл!

Теперь по утрам дед выходил на лавочку не один — за ним как собачка, бежал козел. Он привык к куреву.

Липута сам потом понял, что дал маху: бока у козла обвисли, перестали расти рога. Вид у него был измученный. Аграфена Матвеевна неистовствовала, кричала на деда:

— Старый черт, загубил скотину, даже на козочек внимания не обращает. За людьми по улице бегает, курить просит. Устроил посмешище. Дырявым котелком ничего не соображаешь...

Липута осекал ее:

— Замолчи, анафема. Позову Степана — забьет!

— Да кому он нужен. У него теперь мясо прокурено, свинья и та есть не станет, — причитала Аграфена Матвеевна.

А козел с дедовой махорки перешел на папиросы. Завидев курящего, он со всех ног бежал к нему. Не знающие пугались, бросали в него камни. В деревне все уже знали о козлиной привычке. Мужики дружелюбно вставляли козлу в ноздрю дымящиеся папиросы. Смеясь, говорили:

— Эх, загубил скотину табак...

А Липута досадовал:

— Лучше бы мой самосад курил, с папирос издохнет быстро.

Владимир Кайков (Владимир Анатольевич Высоцкий) родился в 1958 году в с. Порог Нижнеудинского района Иркутской области.

Работает бортоператором в Иркутском объединенном авиаотряде. Заочно учится на филологическом факультете Иркутского университета.

В альманахе «Сибирь» публикуется впервые.



Валентина Семенова

«Философия борьбы» и живая душа писателя

Во времена, когда идет процесс осмысления ошибок и поражений, выпрямления всевозможных кривд, надо ли разбираться в отвергаемых ныне системах и пытаться определить их действительное место в нашей жизни? Прослеживая путь, приведший к кризисным явлениям, уместно ли спросить: а почему так долго держались несовершенные установления и, с другой стороны, были ли они на самом деле так прочны, чтобы сегодня бить по ним наотмашь, не жалея удара? Не с тем ли отжившим мы храбро бьемся, что отжило давно, оставив нам одну только вывеску или бумажный лозунг, пусть не отмененный официально, но и утративший свою былую силу? Не идем ли мы прежним путем, в основе которого лежит только один диалектический закон — отрицания отрицания, и не забываем ли другой — закон накопления и перехода количества в качество?

Эти мысли возникают сегодня как неожиданные интуитивные догадки, и наталкивают на них журнальные публикации — откровенные, слава гласности,— и вместе с ними тот ход вещей, который не сегодня начался и не будет отменен завтра, а следовательно, неизбежно будет в себе нечто накапливать... Но что?

...Две публикации «Нового мира» в прошедшем году на первый взгляд ни в чем не противоречат друг другу, даже как будто направлены против одного явления, всеми осуждаемого сегодня — против культа. Это «Колымские рассказы» В. Шаламова с его мыслями о своей прозе и статья А. Гангнуса о социалистическом реализме «На руинах позитивной эстетики»*. Судьба политзаключенного на Колыме сродни судьбе литературы, втиснутой в рамки директивного метода — такие сами собой напрашиваются параллели.

Но вот что любопытно: конец статьи А. Гангнуса и предисловие В. Шаламова к своим рассказам как вывод и отправная точка двух близких по теме рассуждений находятся в совершенно разных плоскостях, что, может быть, не сразу заметно глазу.

Казалось бы, что можно возразить автору, взявшемуся доказать несостоятельность метода, в котором проявились, в сущности, черты новой и опасной религии человекобожества? Кто не ужаснется, читая о заблуждениях умов, еще недавно признаваемых великими? Умы, выходит, направили всю нашу культуру по ложному пути — к руинам?..

Все так. Хотя...

Хотя об опасности религии человекобожества предостерегали своевременно и Ф. Достоевский, и В. Соловьев, и Н. Бердяев, и другие, и сегодня можно ограничиться простой сверкой некоторых положений русской философской мысли конца XIX — начала XX века с реальностью всех последующих десятилетий вплоть до последних — результат окажется поразительным точностью многих совпадений.

---

* Новый мир. 1988. № 6, № 9.

Скажем, мысль автора «Бесов» о том, что логика борьбы может привести нацию к самоуничтожению; что человек не может быть мерой всех вещей, ибо он меньше вселенной, и что добро — не пожелание, а необходимость выживания человечества («Оправдание добра»); что свобода не может быть самоцелью — это произвол («Философия свободы») и т. д.

Будь все это вовремя осознано современниками наших пророков, многого бы не случилось, наверное, как в практике жизни, так и в теории литературы.

Но случилось то, что случилось, и историю не повернешь вспять. Остается спросить с себя: а как мы сегодня в стране, прошедшей тяжкий и удивительный исторический путь, смотрим на пройденное, с каких позиций его оцениваем и не повторяем ли прежних подходов? Похоже, повторяем.

Подобно тем, кто безоглядно боролся на заре социализма с «пережитками самодержавного прошлого», мы безоглядно превращаем в руины то, что создавалось меж кровавых событий 17-го, 37-го, 41-го, не замечая, что действуем как нигилисты, пролеткультовцы и иже с ними. История же литературы, в том числе и советского периода, убеждает в том, что культура создается не вопреки, а благодаря. Ведь не станет же отрицать А. Гангнус при всей полемической заостренности последних вопросов статьи, где в адрес соцреализма и его апологетов звучат такие сильные выражения, как «кладбище погибших кораблей — мертвых утопий», «отдали на заклание сотни художников, помогли предотвратить появление еще тысяч, предуготовили неслыханный застой культуре», — не станет же отрицать созданного в разные времена советского периода такими писателями, как Шолохов, Фадеев, Твардовский, Леонов, Айтматов, Залыгин, Астафьев, Белов, Распутин? Отрицать невозможно, имена принадлежат мировой культуре. Возможно лишь продолжить список за счет других, менее известных, но также весьма достойных имен.

Как же им удалось сказать свое слово? Отчего не был погублен их талант директивным методом? Случайность? Чудо?

Чудо — да, в той степени, в какой талант сам по себе чудо. Он непредсказуем и за ним не угонишься ни с каким методом, особенно ходульным,— метод непременно отстанет и, чтобы не остаться в стороне, вынужден будет раздвинуть свои границы и украсить себя новой оригинальной иллюстрацией... Конечно, в страшные времена репрессий, когда поводом для уничтожения человека (человека — не идеи!) могло быть все что угодно — происхождение, принадлежность в некие времена к некой партии, заграничное знакомство — да мало ли что! — шел в ход и метод соцреализма как «научно обоснованный» метод отторжения всякого инакомыслия. Тогда он превращался в одну из многочисленных дубинок, которые не важно что значили для тех, кто ими размахивал, и переставали действовать или ослабевали, как только «боги» переставали «жаждать».

И тем не менее метод дожил до сегодняшнего дня, и споры о нем продолжают задевать за живое. Теряя приставку «соц» появилась вокруг новая терминология — «реализм без берегов», «открытая система» и т. д. Откуда эта живучесть? Навязывание сверху? Много чего у нас навязывается сверху, да не все (в том числе и хорошее) приживается.

Нет, не страх перед замалчиванием, неизданием произведений заставлял наших лучших художников как бы соответствовать методу соцреализма. Это соцреализм сумел зацепиться за некие краеугольные камни эстетической системы, выработанной человечеством не за десятилетия — за века, сумел, переродившись, и не раз, со времен Горького и Луначарского — вместе с противоречивым сознанием человека социализма.

Что это за камни? Жизненная достоверность, идея борьбы добра со злом, преображение мира на началах справедливости, народный язык. Люди создают метод, а не наоборот — при всей сложности причинно-следственных связей. И потому в пределах первоначальной формулировки совершались известные колебания духовного порядка.

Приведем ее из той же статьи А. Гангнуса (по уставу Союза писателей 1934 г.): «Социалистический реализм требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. При этом правдивость и историче-

ская конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма». Вместе с автором «Руин» признавая за формулировкой некоторую туманность, нельзя в ней, однако, видеть только «дом без крыши» и платье голого короля. «Революционное развитие» можно понимать по-разному: как плакатно намалеванную картину боя между хорошими красными и плохими белыми и как распрямление человеческой личности, осознавшей не только свое право на место под солнцем, но и ответственность за происходящее вокруг. Как это, например, выразилось в хрестоматийных с точки зрения метода «Железном потоке» А. Серафимовича, романе Н. Островского «Как закалялась сталь», «Молодой гвардии» А. Фадеева. А что такое «дух социализма», если мы сегодня не можем ответить на вопрос, какой социализм мы построили? Можно лишь удивляться, насколько разными были представления разных людей о светлом будущем. Можем ли мы сегодня отвергать произведения, для авторов которых это был и есть дух добра и справедливости, гармонии и всеобщего благоденствия, приближения к духовному абсолюту? И что такое «идейная переделка»? Самосовершенствование в духе добра и справедливости или вправление мозгов по образцу расхожих политических клише? Увы — и то, и другое. В зависимости от духовного состояния общества на данном этапе развития. Общество выбирает тот уровень, какой ему по плечу. Но держится метод, как и всякая система, общечеловеческими ценностями. Именно они просочились в схему новой (несовершенной, конечно же) религии, поскольку тысячелетнее сознание, воспитанное христианством, не могло измениться в несколько лет и даже в несколько десятилетий.

Иногда полезно взглянуть на отечественную культуру со стороны. Профессор из ФРГ Фэри фон Лилиенфельд в интервью «Литературной газете» по поводу тысячелетия крещения Руси в ответ на вопрос о перспективах современной русской советской литературы говорит о возвращении того, что было в культуре всегда. «...И то, что присутствует даже в образцовых, показательных произведениях социалистического реализма, хотя и попало туда почти бессознательно. Если тщательно прочитать «Молодую гвардию» Фадеева, особенно ее первый, не вынужденно обработанный вариант, сплошь и рядом ощущаешь присутствие прежней духовной традиции — в идее жертвенности, искупления, в видении, когда героине кажется, что ангелы с неба благословляют ее поступок.... Скажу больше: на мой взгляд, даже в том понимании социалистического реализма, как его оформил Горький, сказывается неосознанная интерпретация того, что дает нам христианская эсхатология. Видеть в настоящем ростки будущего — это и есть, по-моему, светская попытка подспудного осмысления христианской идеи...»

Итак, идея жертвенности, стремление в настоящем видеть ростки будущего...

Благодаря таким качествам лучшие произведения советской литературы не противоречили и методу соцреализма — ни «Комиссия» С. Залыгина, ни «Нетерпение» Ю. Трифонова, ни «Василий Теркин» А. Твардовского. Но совпадать вовсе не значит втискиваться в рамки. Совпадая, можно как раз раздвигать эти рамки, и настоящий художник делает это, предоставив ученым литературоведам объяснять, оправдывать и поправлять словесные формулировки. Так в «Литературном энциклопедическом словаре» 1987 года выпуска понятие соцреализма звучит следующим образом: «Основой метода С. р. служит концепция революционно-действенного, социалистического гуманизма, в котором находят свое выражение идеи гармоничного развития человека, полноты реального проявления его духовных и нравственных возможностей, подлинно человеческого отношения людей друг к другу, к природе и обществу...» Как видим, «революционное развитие» трансформировалось в «революционный гуманизм», появились новые слагаемые — гармония, духовность, нравственность — и это ли не показатель приспособляемости схемы к жизни, растворении схемы в жизни?

Что же нам остается, кроме провозглашения правомерности существования в культуре других методов? Остается, видимо, поставить вопрос так: отказываясь от диктата в творчестве, что нужно сделать, чтобы не отказаться от идеалов, коли они сумели сохраниться

в отвергаемой сегодня системе? Не лучше ли, прежде чем отвергнуть, сверить эту систему с живым литературным процессом, а потом уж решать, как быть. Осознать прежде, что всякая установка жива до тех пор, пока ее скрепляют живые человеческие токи — вера в необходимость жить и думать так, а не иначе, терпение, привычка к труду, способность жертвовать собой во имя Родины.

Странно сегодня слышать горестную фразу: «Никто ни во что не верит...» Имеем ли право горевать? Разве мы не добивались многие годы, чтобы человек переставал верить — сначала в Бога,— но тогда взамен была хотя бы предложена другая вера — в идеалы революции и социализма,— теперь же мы предлагаем отказаться и от них, с упоением доказывая их несостоятельность. Что придет им на смену? Идея свободы? А что такое свобода? Не более ли это размытое понятие, чем понятие социализма в нашем варианте? И разве революция не обещала свободы? Только почему-то свобода временами оборачивалась большим-большим лагерем, диктатом во всех сферах жизни. И не будет ли следствием всеобщего движения к новой свободе угроза примитивной уголовщины? Ведь мы даже не знаем, из каких реальных сил состоит наше общество, причем общество, воспитанное, как мы теперь поняли, вовсе не в свободе.

Сегодня мы уже можем видеть плоды, которые приносит нам желанная гласность. Вместе с болью и настоящим страданием, долгие годы находившимися под спудом страха и запретов, на страницы печати выплеснулись многочисленные «свободные исследования», принимающие характер расправы над прошлым. Где еще, в какой стране с такой яростью судят мертвых, а их живых соучастников — не судят? И что значит — прошлое? Это ведь наше прошлое: те, кому сегодня 50, 20 лет назад были его участниками, прямыми или косвенными,— зрелыми гражданами так называемой эпохи застоя. Это прошлое наших отцов, заплативших дорогую цену за ошибки свои и своего поколения,— не помнить об этом просто бесчеловечно.

Свободные исследования необходимы, спорить не о чем. Но только при наличии вопроса: во имя чего? Если во имя живого, давшего и нам жизнь и эту возможность свободного исследования, то пересмотр прошлого надо вести с величайшей осторожностью, кропотливо, не жалея труда на отделение зерен от плевел.

И главное — не возвращаться к прежним предрассудкам, согласно которым уничтожение плохой системы приносит немедленное счастье. Ведь это уже было: и разоблачалось, и отменялось, и разрушалось — теперь вот восстанавливаем. И не пришлось бы восстанавливать нашим потомкам то, что мы разрушим сегодня.

Противоречивость метода, как и противоречивость многих звеньев нашей системы — результат того разлома в сознании людей, который произошел не в 30-е и даже не в 20-е годы, а еще раньше — возможно, во времена первых крупных волевых преобразований в стране, всякий раз тяжким бременем ложившихся на ее огромные пространства, не успевающие приспосабливаться к преобразователям. Одним из таких этапных моментов, если не слишком вдаваться в толщу веков, явилась первая русская революция 1905 года и осмысление ее итогов ведущими умами России.

Проводя черту между героизмом и подвижничеством, русский философ Сергей Булгаков не просто отстаивал христианские догматы, но предостерегал общество от подмены интенсивного пути развития человеческой личности экстенсивным — если воспользоваться нынешней терминологией («Героизм и подвижничество», 1909). Русская, а затем и советская общественность не осознала, к сожалению, разницу между этими двумя путями в действительности, что и привело к путанице в литературе, схематизму и идеологическим натяжкам.

По Булгакову подвижничество предполагает реализацию потенциала личности в повседневном труде, духовное самоотречение во имя высшего, смирение гордыни перед бездной незнания — при постоянном самообразовании, творческую неудовлетворенность, послушание. «...дисциплина «послушания» должна содействовать выработке исторической трезвости, самообладания, выдержки; она учит нести историческое тягло, ярем исторического послушания; она воспитывает чувство связи с прошлым и признательность этому прошлому, ко-

торое так легко теперь забывают ради будущего, восстановляет нравственную связь детей с отцами». Героизм по Булгакову — самообожание. «Герой есть до некоторой степени сверхчеловек, становящийся по отношению к ближним своим в горделивую и вызывающую позу спасителя... Герой творит историю по своему плану, он как бы начинает из себя историю, рассматривая существующее как материал или пассивный объект для воздействия. Разрыв исторической связи в чувстве и воле становится при этом неизбежен...»

И еще считает С. Булгаков: «Подъем героизма в действительности доступен лишь избранным натурам, и притом в исключительные моменты истории, между тем жизнь складывается из повседневности...»

Революция — исключительный момент истории. В это трагическое и очистительное время подвижничество и героизм сливались воедино, а почва, подготовленная христианской нравственностью, помогала новой истории не только претендовать на духовную высоту, но и удерживать ее. Пусть образ Иисуса Христа не постигнут нашим сознанием сегодня, но пламенные революционеры, герои новой литературы, восходили именно к нему...

С течением времени революционное подвижничество начинает иссякать — одни ориентиры оказались преждевременными, другие ложными, к тому же пришел черед повседневности, потребовавшей больше терпения, нежели порыва. Понятие подвига стало наполняться иным содержанием.

Здесь-то и происходит разрыв между действительностью и ее «реалистическим» отображением в литературе. В действительности герой-подвижник все больше обретает черты неудачника, жертвы чужих и собственных заблуждений, в литературе — он победитель, несмотря ни на какие потрясения и невзгоды.

Не Горький и Луначарский придумали соцреализм, его создало сознание победившего революционера, уверенного и в грядущих победах. Да и как было не верить, как не уноситься мечтой в будущее, пусть неясное, если оно оплачено людской кровью... Разве мыслимо было согласиться с тем, что такой дорогой ценой было заплачено не за счастье будущих поколений? Кровью — только за счастье, и все, что делалось после — только во имя счастья, и пути выбирались самые короткие...

...Наверное, тем, кого мы сегодня с таким большим опозданием обвиняем и разоблачаем, нечего нам возразить, кроме одного: в стране, разрушенной двумя войнами, не было 100 млрд. рублей дефицита госбюджета. И мы сегодня должны задать себе вопрос: был ли другой путь, кроме ставки на принудительный, лагерный труд, для тех, кто сначала «до основанья» разрушил старое, а затем на голом месте и в короткий срок бросился создавать новое? Причем новое, не выверенное опытом, авантюрное зачастую? И как мы распорядились стабильностью и значительно большей, чем прежде, свободой в первые за всю историю Советского государства спокойные годы — 60-е? Увы! Поумерив принудиловку, мы не создали экономики на здоровых началах, мы стабилизировались за счет госбюджета — и успешно продолжаем делать это под разговор об эпохе застоя...

Судьба метода социалистического реализма выразилась в судьбе положительного героя новой литературы, вобравшего в себя идеалы нового общества. Сразу наметились и противоречия.

Две логики на многие годы определили послереволюционное общественное сознание: логика победителя, готового победить все и вся, и логика выжившего труженика, на чьи плечи легла нелегкая повседневность строящегося социализма. Метод соцреализма как единственный метод социалистической культуры не мог, естественно, избежать этих двух логик. Естественно для метода и то, что крен он делал в сторону героя-победителя. Однако герой-подвижник тоже не мог не прийти в литературу — время менялось. И его приняли, но — добавив ему бодрости, здорового румянца, то есть подтянув или хотя бы приблизив к образу героя-победителя. Это и было началом приукрашивания действительности. На смену Павке Корчагину пришли герои Ф. Гладкова, К. Федина, Ф. Панферова. И этого требовали не Горький и Луначарский, повторим, а сознание победившего революционера.

Однако уровень довоенной литературы и в условиях идеологического контроля определялся ничем иным, как талантливостью авто-

ров произведений. И если мы перечитаем сегодня К. Федина или А. Толстого, мы увидим, как противоречивы их герои, отразившие в себе противоречия новой эпохи. Скажем, Семен Давыдов М. Шолохова предстанет нашему взору несколько в ином свете, чем прежде. Герой-преобразователь, участник невиданного эксперимента, он сильно подвинется в сторону тех неглавных героев романа, которых приехал перевоспитывать и для которых боролся за новый уклад крестьянской жизни. Их объединит одно: они все жертвы. И в нашем отношении к первому председателю колхоза больше будет жалости, чем восхищения или недоверия. (Заметим попутно: весьма показательны в этом плане повороты в трактовке образа Павлика Морозова, происходящие на наших глазах, когда беззаветная преданность пионера колхозному делу вдруг обернулась грехом предательства семьи. Наконец мы, кажется, созрели до того, чтобы увидеть в ребенке невинного ответчика за взрослые злодеяния, и не возвышать и не судить его.)

Следующий исключительный момент истории — Великая Отечественная война. И снова слились воедино героизм и подвижничество,— как в жизни, так и в методе соцреализма.

Появилась «Молодая гвардия» А. Фадеева, и вместе с ней целая плеяда образов безупречной чистоты и самопожертвования.

Все, что было лучшего написано о войне до и после, никак не противоречит «Молодой гвардии» — ни оценка войны как тяжелой работы, ни «лейтенантская правда», ни «окопная правда». Ни даже «Каратели» А. Адамовича— каждое новое талантливое произведение освещало собой новую грань всенародного бедствия, высоты духа и бездны его падения.

В самые первые годы войны появляется «Василий Теркин» А. Твардовского — поэма замечательная своим героем — рядовым бойцом, чуждым какой бы то ни было героической позы,— своим жизнелюбием и терпением побеждающим тяготы войны.

Война как крайнее состояние общества, стоящего перед лицом гибели, должна была хотя бы на время отбросить ложь и в человеческих отношениях, и в идеологии, ибо выжить можно, следуя только правде. Что можно возразить сегодня против «Русского характера» А. Толстого, «Ленушки» и «Нашествия» Л. Леонова, против «Непокоренных» Б. Горбатова? Поэзии военных лет?

Но вот пришла Победа; послевоенная литература делает попытки аналитического исследования недавних грозовых событий. В целом они не увенчались успехом, и не могли увенчаться, так как задача ставилась узкая — «исследовать истоки подвига народа»... Победа — значит подвиг... О том, какой ценой далась Победа, вопрос не звучит. Он и не мог прозвучать — слишком огромным и слишком близким по времени было бедствие, связавшееся с другим бедствием, осмысливать которое и времени-то не было дано — репрессиями 30-х годов. Силы собрались только к середине 60-х, плодотворными были 70-е, но «Войны и мира» тем не менее все еще не написано.

Сказалась и психология победителя, не могла не сказаться — в таких романах, как «Кавалер Золотой Звезды» С. Бабаевского или «Весна на Одере» Э. Казакевича. Но, может быть, здесь уже не вопрос метода, а вопрос качества?

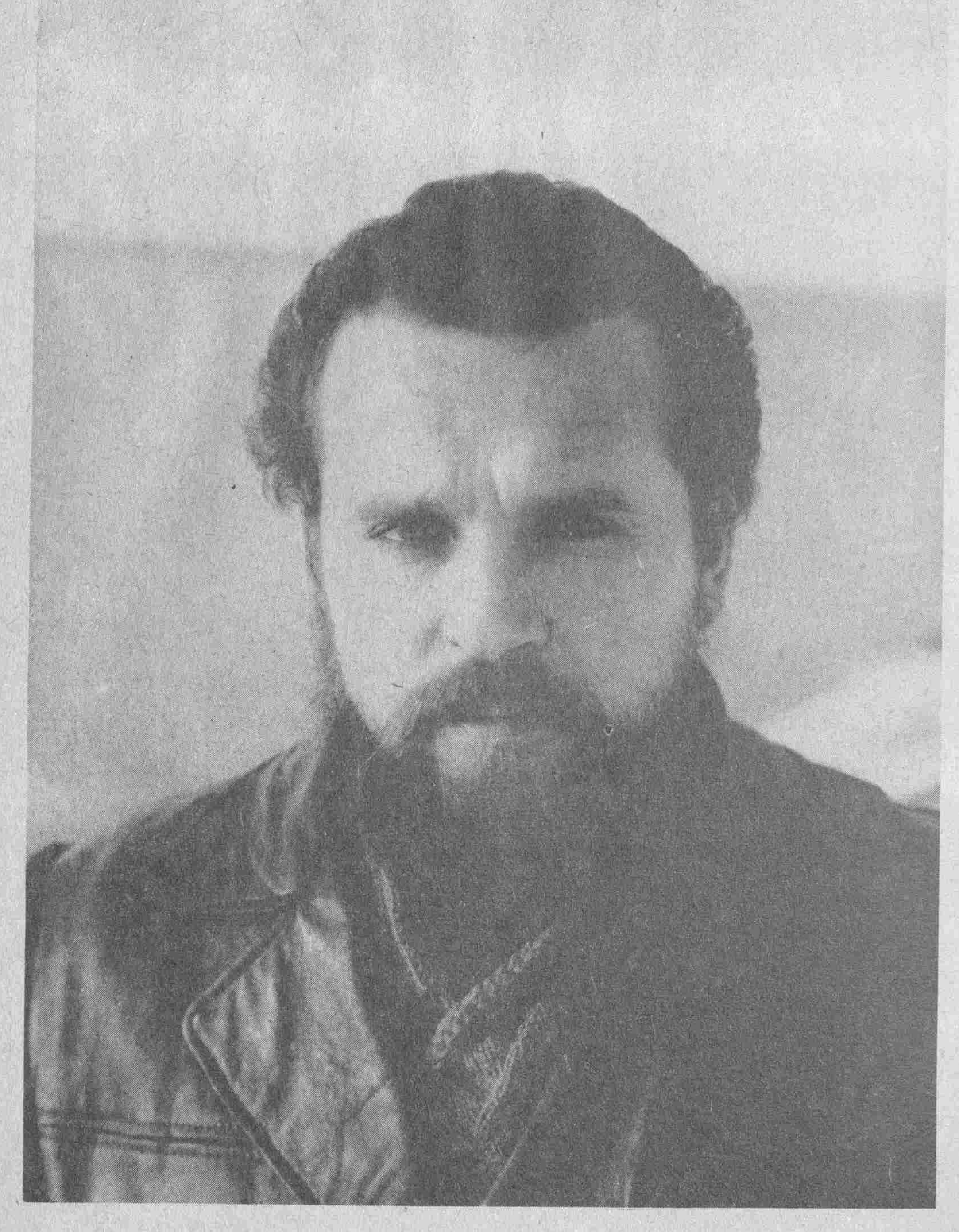
Вообще все те годы сильный герой был необходим. Вера в непобедимость советского человека помогала выстоять. В 50-е годы сформировался классический тип такого героя: красный командир в гражданскую, ударник первых пятилеток, воин-освободитель Отечественной, в дальнейшем — покоритель сибирских рек, волевой руководитель завода — так выстраивалась биография героя, перед которым ничто не могло устоять. Даже 37-й год в книгах тех лет шел в зачет: герой пострадал, но выжил, выстоял, снова победил...

О жертвах говорить все еще было не время. Общество, объединенное стремлением как можно быстрее одолеть разруху, снова не задумывалось над ценой, которую оно платит — как и прежде — волюнтаризму. Противопоставив себя всему миру, мы должны были торопиться, чтобы не потерять занятых позиций. Спешка и забегание вперед становились нормой.

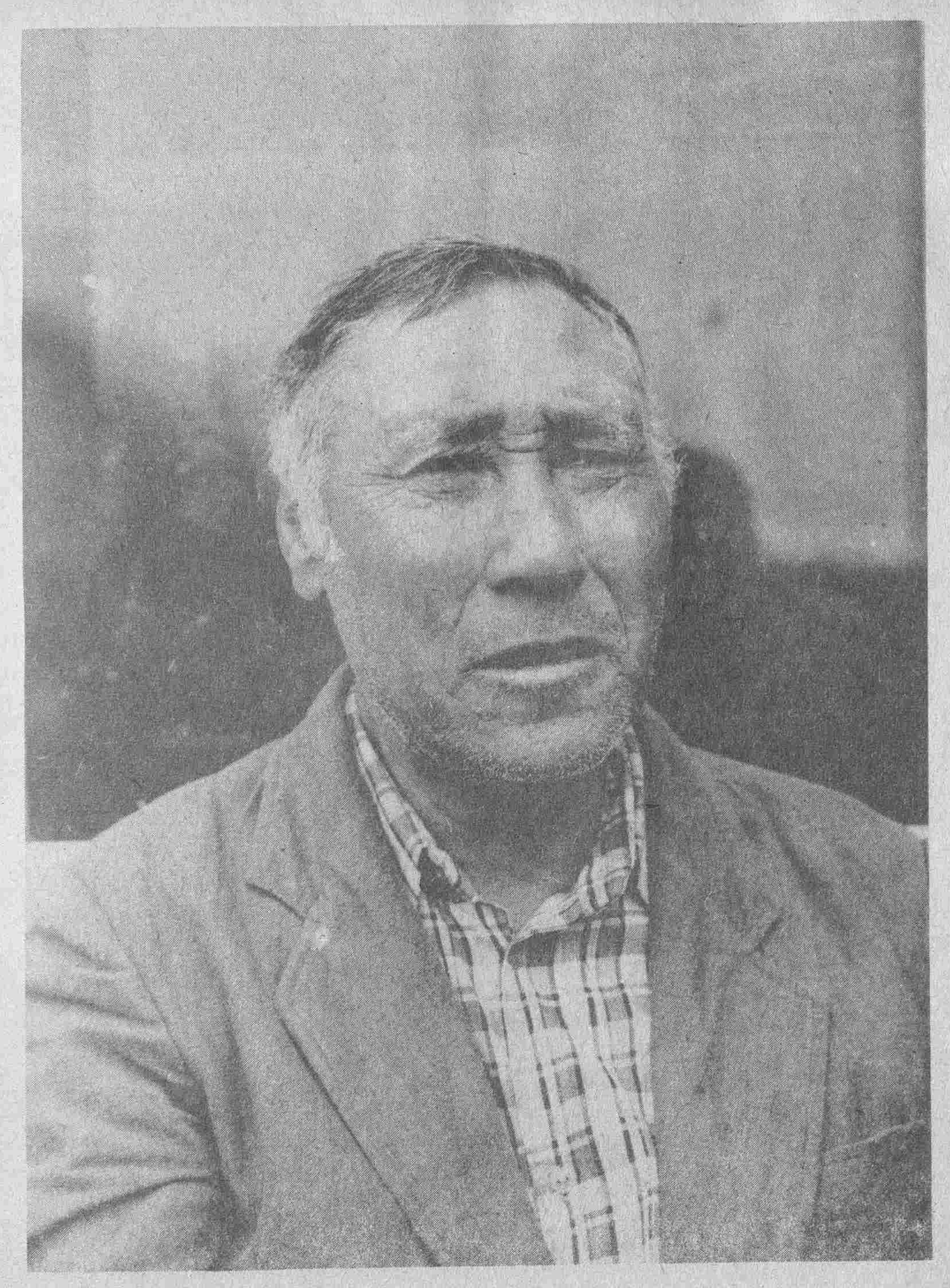
Обратим внимание на такой общеизвестный факт. В нашей послевоенной литературе не было потерянного поколения, подобно литературам других воевавших стран и народов. Это у Ремарка и Хемингуэя мы прочитали о

Валентин Распутин. Русское Устье





Биолог Владимир Булыгин



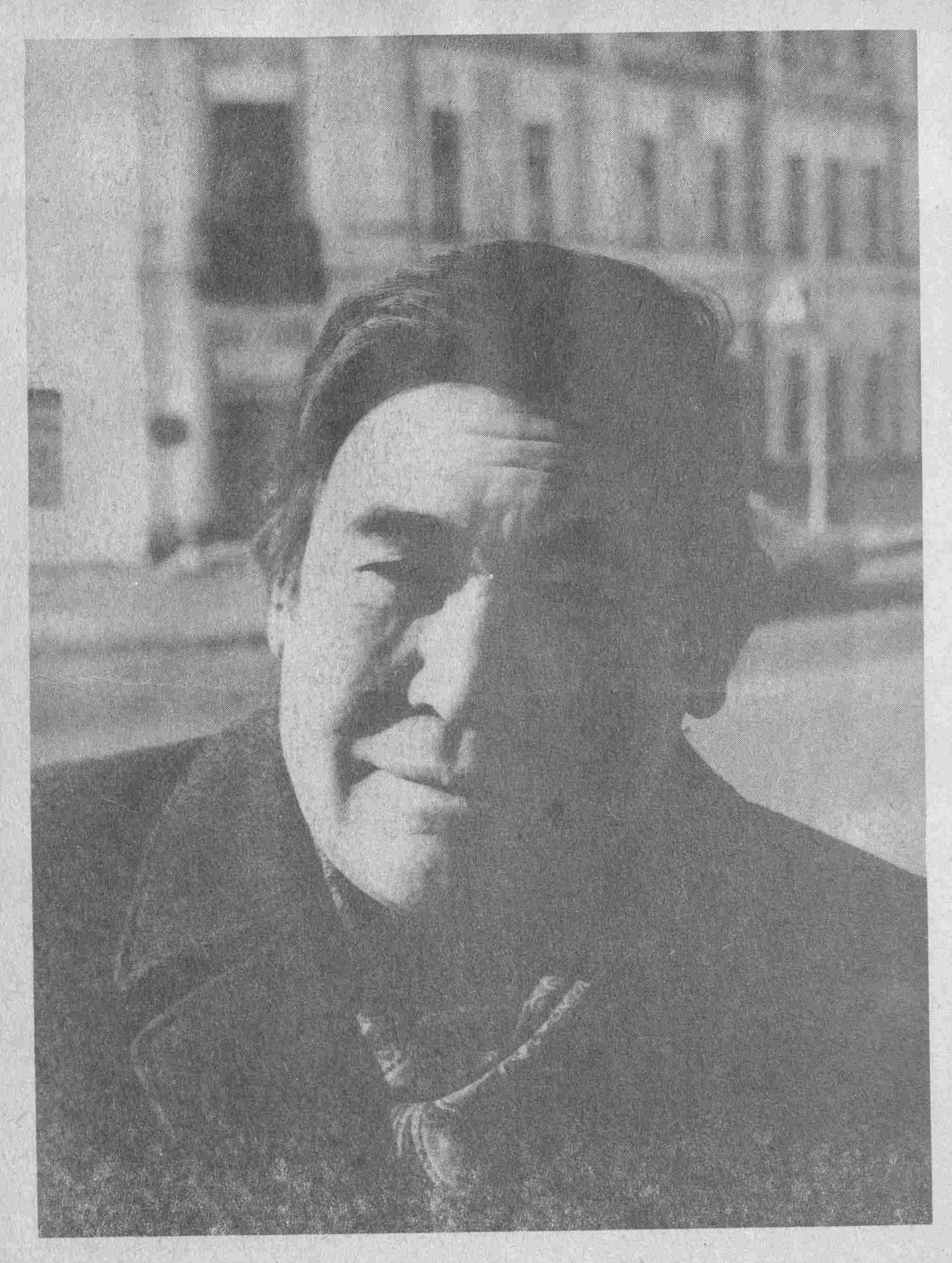
Последний русскоустьинский сказочник Е. С. Киселев



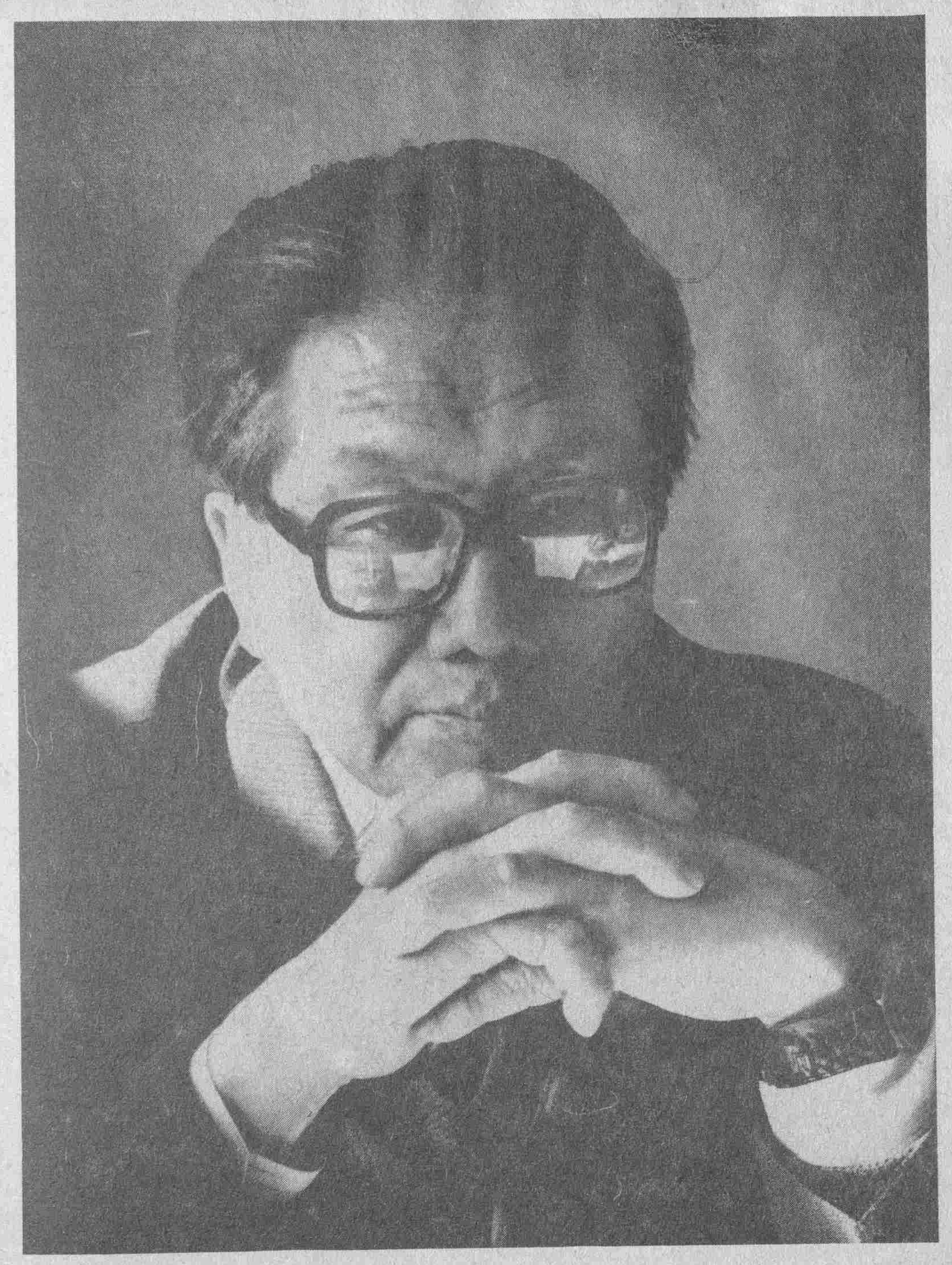
М. Чикачева из Русского Устья



Охотовед П. Черемкин



Писатель Ким Балков



Поэт Николай Дамдинов



Художник Алла Цибикова

том, как не может найти себя бывший воин, привыкший разрушать, а не строить, в мирной жизни. Было ли оно в нашей действительности?

Было, не могло не быть. Еще никто не подсчитал тех, кто, вернувшись живыми с полей сражений, нашел свою погибель в пьянстве. А оно собрало (и до сих пор собирает) великую дань.

Но поставим вопрос по-другому. Почему литературе эти потери удалось скрыть? Только ли потому, что писать о них не разрешалось «сверху»? Нет, думается, не только. Одну из причин можно отнести на счет национальной особенности русской литературы, никогда не любившей живописать дурное — вспомним классику и то, что учиться у Толстого и Пушкина не возбранялось никому. Другая видится в следующем.

Герою-победителю в нашей стране после войны была предложена новая геройская работа: покорять природу и бесконечно перестраивать народное хозяйство. В грандиозные свершения бросились не только потому, что видели в них путь к будущему процветанию, но и потому, что людям, привыкшим бороться и побеждать, не по душе пришлось тянуть лямку постепенного восстановления.

И затерялся Василий Теркин на просторах России. Бесстрашный и терпеливый труженик полей войны, он так же терпеливо и без фанфар принялся собирать разграбленное войной — пахать землю, выплавлять металл, вручную месить бетон. Литература не слишком его баловала вниманием — он больше мелькал в массовых сценах,— а между тем это именно он обеспечивал всевозможные преобразования, которые велись, как ему объясняли, во имя его, и он трудился, веря призывам или не веря, — просто потому, что привык трудиться.

Заявить о себе ему удастся только в 70-е— в военной и деревенской прозе.

Герой-победитель — проследуем за ним дальше — устремился к трудовым рекордам. Пуск завода, ГЭС приравнен к бою. Однако, общество этот герой начинает раздражать. И недаром: в 70-е годы плоды отдельных преобразований стали вполне очевидны. Попытка заменить победителя «деловым человеком» успеха не возымела — вспомним споры о Чешкове И. Дворецкого. Вроде все соглашались с тем, что нам нужны деловые, умные, сильные люди. Но... Кто-то не принял жесткости Чешкова. Это тоже понятно: устали от жесткости. Но не только поэтому. Деловым людям типа Чешкова недостало безоглядности, той самой беззаветной преданности общему делу или хотя бы общей мечте, что была свойственна Павке Корчагину. Еще более далек оказался он и от «святого и грешного» Василия Теркина. Не герой и не подвижник. Отшумели споры, утихли, возникла неопределенность. Что такое положительный герой? Литература однако все еще имеет его в виду. Так, скажем, появляется «Победитель» Р. Киреева, 1980 год. Почему-то и он не вызвал сочувствия у читателя. Хотя был предложен довольно интересный тип нашего современника, человека, способного взять на себя груз других. На него взваливают потому, что он сильный, и он несет. Возможно, Победителю в его ситуации не хватило настоящей доброты? Может, излишне дал он почувствовать, как все-таки ему дискомфортно? И тем не менее этот герой заслуживал сочувствия.

Но наше общество со своей стороны в тонкости подобного рода вдаваться уже где-то и не хотело: необходимость положительного героя как общественного идеала, как эстетической категории начала все более подвергаться сомнению.

И вот итог: сегодня ставить вопрос о положительном герое вроде как и неприлично. Дескать, положительный герой — это догма, надо говорить о сложном герое, живущем в сложное время. Надо просто задуматься и ни в коем случае не судить... Что ж, и в этом много правды. Время действительно сложное и всегда было сложное, и вполне понятна реакция литературы на настойчивые призывы идеологии победителей «Даешь героя!».

И все-таки.

При всей закономерности критического мышления, критических настроений, охвативших наше общество сегодня, задуматься приходится вот над чем.

Отринув несостоятельность или недостаточную состоятельность привычных идеалов, не

утрачиваем ли мы вместе с тем способность различать черное и белое?

В этом смысле показательна реакция читателя и зрителя на одну «неразгаданную» пьесу 70-х. Это «Утиная охота» А. Вампилова.

Истекает второе десятилетие после выхода пьесы в свет, а споры вокруг нее, то утихая, то вспыхивая, так ни к чему и не привели. Общей мыслью нескольких выступлений на вампиловских днях в Иркутске в 1987 году была одна: театр оказался не готов к встрече с произведением крупнейшего драматурга современности. Не готов театр — значит не готово общество.

Эта неготовность связана с необходимостью решить один важный вопрос: как мы относимся к главному герою пьесы, к Зилову? Многообразие трактовок все более склонялось в сторону оправдания или, мягче сказать, понимания всех перипетий зиловского нравственного падения. Распад личности, изображенный ярко, точно, настолько увлек нас, что мы незаметно начали смотреть на мир глазами Зилова. Мы осудили его компанию, оттолкнувшись от обличительной речи Зилова в кафе при устроенном им дебоше, и затем решили, что Зилов-то, пожалуй, не хуже других, а может, и лучше. Это они виноваты, что он такой, ведь ложь кругом! — это и мы виноваты, и в каждом из нас есть Зилов. В общем, сложный герой... Да, конечно, сложный, как сложен вообще человек, и спасибо нам, что мы это поняли. И сочувствия Зилов достоин, как и всякий заблудший, и анализа требует обстановка, его породившая, но...

Один только вопрос: почему мы не замечаем рядом с Зиловым человека, который с тихим упорством противостоит ему? Который— один из всех — способен сказать ему правду о нем, готов помочь ему и становится опорой для одной из его жертв? Это Кузаков, его не сразу и вспомнишь. Но перечитайте его роль и авторские ремарки к ней, и вы убедитесь, что это так.

Вампилов с Кузаковым так же попал в точку, как и с Зиловым. Картина-то ведь общества какова! На одном полюсе Зло—яркое, обаятельное (в старинном значении этого слова: соблазнительное), на другом — Добро — незаметное, невидное, без особых борцовских качеств. И срабатывает наша привычка видеть в идеальном герое непременно борца! Мы еще подумаем над принципами противостояния Добра Злу — в общем-то об этом весь наш разговор. Пока же обратим внимание на то, что Кузаков находится внутри среды, которой противостоит,— это важно. И еще — что Зилов мог выстрелить в Кузакова — в душе, конечно, не желая его гибели. Это еще важнее.

Пьеса А. Вампилова оказалась ношей не по плечу, потому что нам легче встать на путь оправдания — все-таки оправдания — Зилова, чем осмыслить всю бездну его падения; легче не заметить Кузакова, чем вглядеться: в каком же положении находится сегодня обыкновенный добрый человек.

И еще пример.

Не так давно Иркутский тюз сделал постановку «Каина» по пьесе Байрона. Концовку урезали — раскаяние Каина в преступлении показалось режиссеру, очевидно, слишком затянувшимся. И не случайно именно концовку. Ведь и театр, и критики — специалисты по зарубежной литературе, прочитали образ Каина как образ борца за знание против слепой веры. Как своего рода революционера. Театр решил, что такое прочтение очень своевременно, оно — в духе перестройки. В развернувшейся в печати и на телевидении дискуссии защитники нераскаявшегося Каина никак не хотели согласиться с тем, что защищают разрушительное начало. Что равнодушие, а вернее сказать, пренебрежение зрителя к Авелю, его вере и гибели за веру говорит о привычке, воспитанной вульгарным атеизмом, противопоставлять знание вере, как свет — мраку. Но это уже несколько иная тема разговора, хотя и имеющая непосредственное отношение к проблеме положительного в литературе*.

---

* В «Переписке» В. И. Вернадского и П. А. Флоренского, опубликованной в «Новом мире» (1989. № 2), обращают на себя внимание следующие слова В. И. Вернадского в письме, датированном 13 окт. 1929 г.: «Мне кажется, мы сейчас переживаем очень ответственный перелом в научном мировоззрении. Впервые в научное мировоззрение должны войти явления жизни, и, м[ожет] б[ыть], мы подойдем к ослаблению того противоречия,

Сегодня по-разному объясняют феномен появления деревенской, а также военной прозы в самые застойные времена. Ф. Абрамов, Ч. Айтматов, В. Астафьев, В. Белов, Ю. Бондарев, В. Быков, К. Воробьев, С. Залыгин, Б. Можаев, В. Распутин... Одни приходили труднее, другие легче, но никто не был остановлен. Почему? Не только потому, что атмосфера диктата постепенно разряжалась, но и потому, что в сущности произведения этих авторов официальному методу не очень-то противоречили. Соблюдены оказались такие принципы, как принцип правдивого изображения действительности, народность, устремленность к высшему духовному началу. Не увидеть этого могли только ограниченные литературоведы, для которых весь идеал заключался в последнем постановлении партии и правительства. Что можно было возразить с позиций метода против Михаила Пряслина из «Дома» Ф. Абрамова, или комбата из «Горячего снега» Ю. Бондарева, крестьян-тружеников В. Быкова и Б. Можаева? Правда, одного долго не могли понять иные ученые люди: почему идеал оказался в «дремучей» деревне или в солдатском окопе, а не на наших грандиозных стройках? Но надо ли удивляться? Эти писатели опередили не только профессиональных критиков, но и профессиональных экологов, профессиональных историков и экономистов — так уже вышло.

Явление этой прозы можно сравнить, наверное, с прорастанием травы сквозь асфальт. Там, где асфальт толще, дело идет труднее, где тоньше,— легче, кладут-то его неровно... Но обошлось без лома или отбойного молотка — вот что интересно. Живое просто росло, по мере роста отодвигая корку над собой, пока она не начала рассыпаться. Словно сама мать земля, отдохнув от переворотов и войн, приказала: живи, живое, иначе и мне не жить! — и дала силы. Но силы для жизни, не для разрушения.

А потом уже выяснилось, что это совсем другая литература, чем была прежде. Она оказалась и критической, и духовной и в лучших традициях классики, и интересной всему читающему миру.

Так вот задумаемся: как противостоит живое неживому, положительное отрицательному?

Мы как-то привыкли видеть здесь непременный бой, когда смерть — логический исход, и ничего более. На уровне простейших организмов это, наверное, так и есть, и только так. На уровне крупных исторических бедствий тоже так — люди, подобно неразумным тварям, начинают уничтожать друг друга. Конечно, позиция освободителя неизмеримо выше позиции завоевателя, однако потери неисчислимы со всех сторон. Но вот на уровне нравственном и духовном как идет борьба? Не другие ли здесь действуют законы?

Вспомним: Чацкий обличает фамусовское общество, Онегин — петербургский свет; Чацкий — положительный герой, Онегин — противоречивый, сложный... А Татьяна? О ней написано поменьше, чем об Онегине. Да, любимая героиня Пушкина, чистая и милая, обаятельный образ русской женщины. Замечено и нравственное противостояние Татьяны Онегину. Но давайте еще раз посмотрим, как она противостоит. Она не борется с Онегиным, не обличает его, она даже учится на его книгах— да она любит его! Она только позволяет себе однажды упрекнуть его за давнее невнимание к ней. И что же? Татьяна одерживает полную победу, она покоряет Онегина, не причинив ему никакого зла,— покоряет любовью и благородством.

Зная сегодня о Татьяне все, осмыслили ли мы всю высоту ее победы?

Настена из «Живи и помни» В. Распутина восходит к онегинской Татьяне величием души. Она тоже никак не борется с Гуськовым — она помогает ему как самый близкий человек. Но меж ними бездна — его эгоизма, ее жертвенности. И бездна поглощает Настену — она гибнет, словечком не упрекнув своего губителя!

Не так ли и должно противостоять добро злу — не ставя перед собой специальной задачи уничтожения носителя зла? Не две ли это несовместные системы, которые на духовном уровне уже не пересекаются? Живое развивается по законам живого. Мертвое — за

которое наблюдается между научным представлением о Космосе и философским или религиозным его постижением. Ведь сейчас все дорогое для человечества не находит в нем — в научном образе Космоса — места...»

пределами живой системы и не может вступать в конкуренцию. Мертвое может задержать рост живого, но отменить его оно не в силах. Живое вырастает не в борьбе с мертвым, а в борьбе за жизнь, в борьбе за живое даже в мертвом или омертвевающем.

То, что умерло в соцреализме еще в 70-е или даже раньше, сможет воскреснуть только в случае воскрешения той части нашего сознания, которая потребует директивных установок в творчестве. То, что выжило в методе, выжило благодаря — можно сказать, приспособляемости, а можно — обогащению за счет новых духовных ценностей, предложенных художниками-подвижниками, будеть жить, потребовав, вероятно, другого названия. Дело-то ведь не в названии, а в сути. Кто знает, не выведет ли историк литературы будущего нечто в подобном роде: «...метод такой-то, называемый в свое время методом соцреализма, развивался в противоречиях двух начал — героического и жертвенного, все более опираясь на второе...»

Так требуется или нет лом в качестве орудия, против которого нет, как известно, приема, для очередного расчищения очередных руин? Не цепная ли это реакция — от руин к руинам?

И здесь пришло время обратиться к мыслям В. Шаламова о своей прозе. Прочесть и воспринять как откровение, весьма и весьма своевременно прозвучавшее.

«Автор «КР» («Колымских рассказов». — Ред. «Нового мира») считает лагерь отрицательным опытом для человека — с первого до последнего часа. Человек не должен знать, не должен даже слышать о нем. Ни один человек не становится ни лучше, ни сильнее после лагеря. Лагерь — отрицательный опыт, отрицательная школа, растление для всех — для начальников и заключенных, конвоиров и зрителей, прохожих и читателей беллетристики...

«КР» — это судьба мучеников, не бывших, не умевших и не ставших героями...

...Автор «КР» стремится доказать, что самое главное для писателя — это сохранить живую душу».

Разве сказанное не ново и не удивительно для нас?

Человек, переживший бесчеловечное, называет его своим именем и предлагает не вводить в человеческий обиход. В сущности В. Шаламов выступает против парадокса, который нам еще предстоит осознать: обвиняя и разоблачая других, свой личный отрицательный опыт мы держим про запас как аргумент в споре.

Более того,— мы руководствуемся этим отрицательным (мертвым) опытом при анализе несовершенного, на наш сегодняшний взгляд, но живого прошлого. Сегодняшний — следует подчеркнуть, вчера-то у нас были другие взгляды и критерии!

Мы все еще думаем, что на ошибках учатся. Отрицательная школа не учит ничему доброму, и весь народный опыт говорит за это. Как мудр бывает простой человек, когда нечаянно осудив покойного, тут же оговаривается: «Не тем будь помянут».В этой оговорке и уважение к памяти ушедшего, и нежелание вызывать к жизни то дурное, что ушло вместе с мертвым. И как неразумны мы, напичканные всевозможной информацией, претендующие осмысливать судьбы литературы, когда в угоду новым кумирам крушим и крушим прежние. Не в плену ли мы, грубо говоря, лагерного опыта, который диктует нам свои методы борьбы за вдруг озарившую нас истину?

Неловко читать иные из последних критических статей... О любви к отеческим гробам не может быть и речи. Что нынче Симонов? Да он же в одной компании с палачами! Куда ему до Гроссмана! И кто такой Вишневский? Разве можно отстаивать его авторитет перед Платоновым и Булгаковым!

Закон отрицания отрицания, «философия борьбы», на словах осужденная А. Гангнусом, на деле работает вовсю.

Но для того ли явилась скрытая от нас литература, чтобы отменить открытую? За тем ли она явилась, чтобы предъявить свои права на место под солнцем, как предъявили их в свое время дети высокопоставленных репрессированных,— к примеру, на огромные дачные участки своих родителей, не задумавшись над тем, какие угодья полагаются рядовому со-

ветскому труженику? Их обидели — пусть вернут сполна!

Хочется верить, что не так и не за тем.

Сами писатели, будь они живы, не согласились бы на восстановление подобным образом. Они бы, вероятно, напомнили нам, что в живой культуре не как в армейском подразделении, где иерархия только по вертикали. Явившийся ныне «Чевенгур» не отменит «Оптимистической трагедии». И не дополнит ее, разумеется. И то и другое необходимо читателю как свидетельства противоречий времени. Чем больше талантливых свидетельств, тем полнее картина — и странно столь очевидное доказывать в конце 80-х.

Странно и жаль, что наша богатая русская и русская советская литература все еще не доказала нам той истины, что система — это мы.

ИНТЕРВЬЮ «СИБИРИ»

Под этой рубрикой мы начинаем публикацию интервью с известными в стране писателями, критиками, историками, учеными о проблемах перестройки, о культурном и экономическом состоянии страны, о состоянии нашей литературы и критики и многих других актуальных проблемах, стоящих перед нашим народом в этот переломный период истории.

У нас в гостях известный поэт, критик и публицист, лауреат Государственной премии РСФСР Станислав Юрьевич Куняев. В нашем альманахе публиковались его стихи, а также выступление на встрече редколлегии журнала «Наш современник» с иркутскими читателями.

Ведет рубрику журналист Александр Шахматов.

С. Куняев. Наша перестройка со всей ее гласностью началась, особенно в литературной жизни, как бы с поверхностных слоев сознания. Это все связывалось частью критики только с хрущевской оттепелью, с судьбой поколения, которое вошло в литературу и в жизнь после XX съезда. Яркий пример тому — публикация в «Огоньке» четырех «духовных владык перестройки» (как они там себя изобразили) — Рождественского, Вознесенского, Евтушенко, Окуджавы. Но история не стоит на одном месте, экскаватор истории работает. И было бы очень наивно считать, что наша гласность не пойдет вглубь. Дошли до 30-х годов, хотели было зациклиться на 37-м годе, остановиться только на нем, на чем настаивают сейчас организаторы «Мемориала» — на жертвах сталинских репрессий. Вот, в частности, Анатолий Рыбаков недавно выступал в «Московских новостях» и говорил, что дальше идти и не нужно, это уже будет теоретический спор, исторический спор и нечего путаться в этой проблеме репрессий. Вот 37-й год, там все ясно, а все остальное можно как бы и вынести за скобку. Но за скобки вынести ничего не удается. Литература развивается, появляются новые исследования, исторические исследования, работы Селюнина, работы Кожинова, работы Знаменского.

Очень много сейчас публикуется документов о расказачивании. Я, например, сравниваю эту проблему — расказачивания — с геноцидом, а ведь это было в 19, 20, 21-м годах. В этом замешаны и Троцкий, и Свердлов, и многие другие люди, не имеющие к сталинизму никакого отношения. Видимо, у них была своя идеология, свои установки, и то, что сделали с казачеством, которое можно было считать целым укладом, целой народностью в нашей громадной стране, можно сравнить, допустим, с репрессиями по отношению к другим народностям: чеченцам, калмыкам, к ингушам, немцам Поволжья,—которые вершились при сталинских временах. Так что здесь одно от другого отделить совершенно невозможно. И трудно грань найти, где понятие «революционная законность» отличается от понятия «сталинская репрессия». Одно постепенно и органически переходило в другое. И никакой юрист, никакая юридическая школа не скажет: «Это сделано справедливо, потому что это — «революционная законность», а это несправедливо, потому что это — «сталинские репрессии». Корни всего этого лежат в отсутствии закона вообще и в беззаконии — и революционная законность на этом покоится, и процессы 37 года, и раскулачивание, и шахтинское дело, и дело промпартии, и дело церковников. Давайте подумаем вот о чем: ведь массовые политические процессы у нас начинались не в 37-м году. Один из самых шумных массовых процессов, на который откликнулась вся Европа (в частности, тогда протестовал лауреат Нобелевской премии Ромен Роллан), — в 22-м году. Это процесс правых эсеров — первый политический процесс, когда стремле-

ние к однопартийности и очень жесткой идеологической системе толкнули нашу идеологическую власть начать этот процесс и расправиться со своими вчерашними соратниками по борьбе с царизмом — лидерами правых эсеров, обвинив их в заговорах против Советской власти, обвинив в террористических актах 4—5-летней давности. И политические изоляторы были созданы в 22-м году. Но то, что тогда считалось понятием «революционная законность», — есть беззаконие. Как бы это ни было, на такого типа революционной законности воспитывались все будущие сталинские кадры — воспитывались Крыленко и будущий столп нашей юридической науки Вышинский, воспитывались Мехлис и Ярославский и все другие — они получили воспитание не в 37-м году, а в начале 20-х годов. Это была очень хорошая школа, которую они усвоили, и с нарастанием сталинизма продолжали и углубляли все уроки, полученные в начале 20-х годов в этой школе массового террора.

Корр. Возникает вопрос: а что если бы не было вообще Октярьской революции, или, как ее иногда называют, Октябрьского переворота, что бы было тогда?

С. Куняев. Понимаете, какая вещь. Всякая революция — это событие настолько глубокое и настолько сложное, что сводить ее только к борьбе за власть или к каким-то процессам, которые проходят в верхней части общества, обладающей властью, было бы, конечно, неправильно. Конечно, народ жаждал перемен. И они были необходимы. Просто надо было бы разумно и правильно воспользоваться этой жаждой народа, который поддерживал и хотел этих необходимых перемен. Во всяком обществе наступают моменты, когда перемены совершенно необходимы. И тут громадную роль играет то, насколько разумно, глубоко удастся воспользоваться этой жаждой народа к переменам. В нашей революции народное желание обновления связано прежде всего с именем Ленина, который угадывал лучше и глубже других, как революция должна соответствовать интересам народа, но у него не получалось очень многое, потому что окружение его, профессиональные революционеры, его ближайшие помощники, были людьми гораздо ниже его просто по знанию народа, в котором им пришлось играть роль лидеров революции. И как быстро в этой части профессиональной интеллигенции (партийной) началась борьба за власть, при которой народные интересы стали игнорироваться вообще и отодвигаться на второй план. Наша сегодняшняя пресса завещание Ленина излагает так, как будто самое главное в этом завещании было предложение заменить Сталина. А это была частность в завещании Ленина. Главная суть завещания Ленина была в том, чтобы в Центральные органы власти (партийные) — в ЦК партии, в Центральную контрольную комиссию — ввести как можно больше рабочих и крестьян, усилить народным элементом эту, уже начинающую обюрокрачиваться в своей внутрипартийной борьбе прослойку. Но преемники Ленина проигнорировали это его главнейшее требование, а завещание Ленина свели к тому, кого поставить на какое место и на сколько Сталин соответствует по своему характеру этой должности. Короче говоря, сузили до своих узкопрофессиональных цеховых забот его требования и анализ современного момента. В революции были народные требования, совершенно необходимые для обновления жизни народа и государства. Но вот воплощались они уже в 20-х годах все меньше и меньше. Зато бюрократическая стена стала (особенно после смерти Ленина) выстраиваться просто с катастрофической быстротой и об эту стену разбивалась волна жажды народного обновления жизни.

Так что эти две тенденции в революции, даже, можно сказать, враждебные друг другу, но тем не менее, шли параллельно. В конце концов тенденция обновления народной жизни, которой жаждал народ, окончательно была подавлена всякого рода второстепенными бюрократическими, внутрипартийными распрями.

Корр. Народ-то страдал, и страдали в первую очередь лучшие представители народа, наши поэты народные, как их сейчас называют, «крестьянские» поэты.

С. Куняев. Да, я вот как раз, когда составил антологию «О Русь, взмахни крылами», тоже эту тенденцию заметил, потому что наша партийно-бюрократическая верхушка стала сразу быстро создавать свой слой интеллиген-

ции, который служил бы ей, расправившись со старой интеллигенцией, отбросив ее, вышвырнув ее в эмиграцию. Часть уехала по своей воле, часть — не по своей; многие русские интеллигенты хотели оставаться вместе с народом и служить новой власти (по мере сил, на что они были способны), но тем не менее все-таки к ним относились подозрительно и в конце концов в начале 20-х годов просто насильно высылали за границу, чтоб они не мешали здесь, как говорится, не портили картину развития революции, как это, допустим, хотелось Троцкому, Сталину и другим лидерам, оставшимся после Ленина. В то же время из народа нарождалась своя новая интеллигенция, особенно из крестьян (крестьяне как-то быстро стали образовываться после революции, и первое поколение из крестьян сразу властно заставило говорить о себе...). Они, естественно, не принимали никакой бюрократической авторитарной (тотальной) системы, будем так ее называть, для которой народ — это всего лишь сырье для экспериментов, они были сыновьями народа и понимали, что на такую точку зрения встать просто не могут органически. Это сопротивление их власть почувствовала с середины 20-х годов. Она создавала свою интеллигенцию, которая верой и правдой служила ей, она хорошо подкармливала эту интеллигенцию, давала ей возможность и печататься, и играть большую роль в культурной жизни, но с одним условием, чтобы эта интеллигенция ориентировалась на партийно-бюрократическую верхушку, а не на интересы народа. Обратим внимание на то, что культ Сталина начался в среде этой новой, выкормленной бухаринской интеллигенции. Институт Красной профессуры, созданный Бухариным, вскормил в течение нескольких выпусков целый слой этой интеллигенции, которая стала занимать кафедры, университеты, ректораты, короче говоря, вся страна была уже задействована выпускниками бухаринского Института Красной профессуры. Оттуда выходили и писатели, и критики, и идеологи, и именно они стали первыми создавать культ вождя. Вспомним 30-й год — статью «О великом Сталине» Михаила Кольцова, представителя этой бухаринской интеллигенции, вспомним, что первое стихотворение о Сталине, самое значительное, такую сталиниану начал не кто-нибудь, а Борис Пастернак, он опубликовал стихи о Сталине в январе 1936 года. Вспомним также о том, что, находясь в трудных условиях, многие талантливейшие поэты и писатели с совестью, но все же... как говорил Некрасов:

Не торговал я лирой, но бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
Невольный звук из лиры исторгала
Моя струна.

Вот и из их лиры тоже исторгался неверный звук. Вспомним, что даже и Булгаков написал пьесу «Батум», прославлявшую Сталина, и даже Мандельштам писал стихи о Сталине, в конце концов оказавшись жертвой сталинизма. Не писали стихи о Сталине и не славили его только поэты крестьянского происхождения, которые видели, что творится с народом, видели, что делается с крестьянством, видели, куда катится время, и язык не поворачивался у них в эту хвалу свою лепту внести, и совесть им мешала, и именно поэтому, они настолько были, как говорится, не ко времени и настолько... как бельмо на глазу у идеологов тех годов — всяких мехлисов, емельянов ярославских, бухариных и прочих, что, конечно, первыми стали жертвами репрессий вместе со своим классом — крестьянством. Первым, в 24-м году, был расстрелян поэт из Вологды, к которому Есенин часто приезжал в гости, с которым он ездил путешествовать на Север, Алексей Ганин. Травля этих поэтов — Николая Клюева, Сергея Клычкова, Петра Орешина — началась с середины и очень усилилась ко второй половине 20-х годов, что совпало с общим отношением к крестьянству, к необходимости его уничтожения, раскулачивания и полного его перерождения как класса, так что здесь политика и идеология борьбы с крестьянским началом, народным началом шли рука об руку, и вот, к сожалению, первыми жертвами этой линии стали люди из крестьянской интеллигенции, не только поэты, но и прозаики, и ученые, если вспомним Чаянова и его школу, и экономисты, которые считали, что крестьянство нужно сохранить и развивать, а не переделывать в полурабочий класс и в полукрепостное состояние.

Корр. В книге Ф. Медведева есть любопытное интервью, показывающее массовому чита-

телю принцип того, например, почему в «Огоньке» не публикуются Василий Белов, Валентин Распутин, Юрий Бондарев. В беседе с публицистом В. Коротич отмечает, что В. Белов якобы ставит своим условием печатать в «Огоньке» публикации правдивых материалов об убийстве Есенина. В. Коротич говорит, что это — шантаж, а убийство Есенина — это байки из черносотенного сундука. Станислав Юрьевич, вы изучаете жизнь и судьбу С. Есенина, можете ли вы сказать что-либо о смерти поэта, приоткрыв тем самым ее тайну?

С. Куняев. Если говорить о заявлениях главного редактора «Огонька» Коротича, то я должен сказать, что он иногда, как говорится, зря говорит за всю литературу, за всю интеллигенцию. Вот передо мной сейчас лежит пермская комсомольская газета «Молодая гвардия» от 22 января. В этой газете Коротич пишет: «Как-то мы летели в Америку. В самолете сидели Залыгин, Егор Яковлев, Бакланов и я. Кто-то из нас сказал: «Вот сейчас самолет шлепнется, и конец гласности!» Как-то так странно, что Коротич считает, что гласностью заведуют только 4 человека в нашем государстве — Егор Яковлев, главный редактор «Московских новостей», Бакланов, Коротич и Залыгин. Я думаю, что гласность — это понятие общенародное, и все журналы, каждый по-своему, и все литераторы, каждый по-своему, вносят в понятие «гласность» свою лепту. Я не мыслю гласности, например, без Распутина, без его откровений, без его выступлений, без его оценки нынешней ситуации; не приемлю гласности нынешней и считаю, что она будет слишком односторонней, однобокой, искаженной без выступлений Белова, без его оценок; без выступлений Астафьева, Бондарева да и многих других. Так что не надо бы так много брать на себя и считать, что только ты и твои единомышленники выражают то необъятное понятие, которое называется «гласность». Что же касается вопроса об Есенине, я слышал однажды выступление Коротича в Калуге, он сказал, что предлагал Белову опубликоваться, а Белов сказал: «Напечатайте правду о смерти Есенина». Я занимаюсь судьбой Есенина, изучаю историю его жизни, потому что пишу, уже начал писать книгу о Есенине в серии «Жизнь замечательных людей». Сроки у меня небольшие. Через два года должен написать эту книгу. Документов очень много. Есенин был ключевой фигурой 20-х годов: и художественной фигурой, и политической. И многие политические лидеры той поры связывали свои имена, свои надежды влиять на народ, на публику с именем Есенина, на него делали ставку, на отношения с ним — и Киров, и Троцкий, и Фрунзе, и многие другие идеологи, политики тех времен. Так что он был в эпицентре, можно даже сказать, не только литературно-художественных, но и политических, идеологических страстей, что, естественно, крайне осложняло ему жизнь. Мы мало знаем еще о том, какие страсти бушевали в этом эпицентре, это сейчас в связи с открытием архивов, документов, с открытием фондов... литература громадная. Так что работа предстоит большая, я ее сделал только в небольшой части. Поэтому полной информации на ваш вопрос я дать пока что не могу. Не все документы я еще изучил, потому что только несколько месяцев тому назад стало возможно изучать эти документы в архивах, а их очень много. Но, по́ крайней мере, я изучил все следственные дела, все ответы свидетелей по делу о самоубийстве Есенина, все медицинские заключения, прочитал массу неопубликованных мемуаров. Не все я еще их прочитал, еще в иных архивах они остаются, много опубликовано за границей, еще не добрались руки до тех материалов. Во всяком случае, представив себе всю эту картину и выстроив все материалы, которые я успел прочитать, я не сомневаюсь, что он был убит. Достаточно просто опубликовать без особых комментариев все оставшиеся документы следствия, медицинского следствия и мемуаристов, которые в те дни описывали, как происходило следствие и в каком состоянии, с кем встречался Есенин. Просто даже любая электронно-вычислительная машина, если документы без комментариев в нее заложить, сделает однозначный вывод на этот вопрос, что Есенин был убит. Но кем? И какие силы были в этом заинтересованы — это еще предстоит разгадать. На этот вопрос у меня еще нет ответа. Здесь есть несколько вариантов, но каждый из них зыбок и достаточно еще бездоказателен. Может быть, еще не хватает документов. Может быть, в ближайшем будущем, если они най-

дутся, можно было бы сделать определенные выводы.

Корр. И еще один вопрос, последний. Как мне кажется, сегодня в таких изданиях, как «Книжное обозрение», «Советская культура», «Огонек» и других, — целый шквал... не то что критики, шквал оскорблений в адрес нашего земляка Валентина Григорьевича Распутина. Причем все это облекается в форму этакого сочувствия: Распутин-де исписался, надо бы ему помочь...

С. Куняев. Я вам отвечу на этот вопрос выдержкой из моих заметок. Это из неопубликованного.

«Я думаю, что Распутин вызвал огонь на себя тем, что поставил во главу угла своей жизни вопрос о патриотизме. Потому что, видимо, созрели какие-то силы в нашем обществе, для которых понятие «патриотизм» просто как кость в горле. И которые, как сказал Распутин, стоят над патриотизмом, как над умирающим патриархальным, так сказать, отцом семейства, и ждут, что скоро его надо закопать и скорее бы он скончался. Иногда наша пресса этот вопрос считает самым главным, потому что только с патриотических позиций можно решить все остальные проблемы: экономические, политические, экологические, что если этим будут заниматься люди без чувства патриотизма, то ничего просто не получится. Это будут технократы, которые... ну, будут, как говорится, отрабатывать эту вещь формально, но без той страсти, без которой сейчас невозможно поднять ни народ, ни государство, ни перестройку. И вот такую позицию многие наши прогрессивные и перестроечные журналы называют... «межгрупповой борьбой». Я считаю, что это не межгрупповая борьба, а это борьба мировоззрений. Потому что с одной стороны стоят писатели, исповедующие национально-государственные идеи, понимающие, что без них такое громадное государство, как наше, и такое сложное общество, как наше, жить и существовать успешно в этом мире не может... (к таким писателям в первую очередь я причисляю Распутина, Белова, Проскурина, Алексеева, Пикуля, Бондарева, поэта Юрия Кузнецова, Бориса Олейника, Отара Чиладзе, критиков Кожинова, Лобанова, Ланщикова).

А другие же писатели — среди них Коротич, Адамович, Евтушенко, Шатров, Бакланов — считают, что превыше государственных и народных интересов могут и должны стоять права личности или права человека, что они главное в современном мире. Многие из них считают, что коммерчески-массовое искусство, денационализированное по своей сути, есть культура настоящего и тем более будущего. Это очень серьезное, принципиальное противостояние, не какая-то групповая борьба. Как разрешится это противостояние — покажет время. Немало в этой борьбе зависит и от читателя, от его культуры, ума, чувства долга, ответственности за грядущее поколение, от того, насколько в нем умерло или живет национальное самосознание, кем бы он ни был — русским, украинцем, грузином, бурятом, т. е. есть ли в нем тот патриотизм, о котором печется и о котором болеет Валентин Распутин».

Корр. Это у вас какая-то новая статья или...

С. Куняев. Это просто... «Дневники эпохи перестройки». Если хотите, я в заключение еще оттуда прочитаю... «Сейчас обострились национальные проблемы, и каждый комментирует причины этого обострения по-своему. Да, обострение национальных проблем в мире налицо. Не только у нас, в России, но и везде: если вспомним Азию, вспомним Африку, вспомним Ирландию, да и др. Но по отношению к России это обострение связано с усилением русофобии. Проявляется она по-разному. Вот многие наши историки и литераторы — Юрий Афанасьев, Шатров, Юлиан Семенов — только тем и занимаются сейчас, что выводят сталинизм из русской истории и русского характера. Или пытаются ввести в общественный обиход схему, что, мол, Россия только тем и занималась, что расширяла свои колониальные владения, угнетала другие народы и наживалась на этом, русифицируя всех и все. Чего тут больше — недомыслия или какого-то полупровокаторского пыла — я не знаю. Конечно, Россия была империей, конечно, она вела и захватнические войны, но одновременно под ее исполинское крыло, спасаясь от смерти, укрывались многие народы: грузины спасались от персов, которые разоряли и вырезали их, армяне — от турок, украинцы от польской шляхты, агрессивной и беспощадной, киргизы

— от великодержавных кровавых насилий китайских императоров и т. д. И, главное, подумаем вот о чем: ведь в отличие от индейцев Центральной Америки, сведенных испанцами с лица земли, индейцев Северной Америки, почти также уничтоженных, в России за всю ее многовековую имперскую якобы политику, не ассимилировано, не сведено на нет, ни одно даже самое маленькое племя. А в чем здесь секрет? А в том, что государственную политику всегда смягчали нравы русского народа — народ всегда эту политику обтесывал, подправлял, ослаблял, чтобы жить в мире с соседними племенами и народами. Достойный ответ всем нашим демагогам, видящим в прежней России только злое насилие. Вспомним, как писал об итогах добровольного присоединения Грузии к России наш великий поэт Лермонтов:

И божья благодать
Сошла на Грузию. Она цвела,
Теперь в тени своих садов,
Не опасаяся врагов.
За гранью дружеских штыков.

Конечно, в империи нет свободных народов и не может быть, но когда какому-то народу грозила смерть и разорение, Россия всегда помогала ему: «В тесноте, да не в обиде, пусть в неволе, как говорится, да не в могиле». А то, что сейчас говорят о русском национальном характере, неприятно читать — клеветой многое пахнет. Пусть лучше каждый молодой читатель прочитает «Судьбу человека» Шолохова или «Русский характер» Алексея Толстого — там правды больше, нежели в изысканиях Юлиана Семенова или Рыбакова о том, что, мол, сталинизм чуть ли не вырос «из рабской сути русского народа».



Иркутская летопись
Летописи П. И. Пежемского и В. А. Кротова *

В Китай уехал с караваном купчина Савватеев.

1703 г. Начата постройка деревянной церкви в Иркутске, на берегу р. Ангары, во имя святых Прокопия и Иоанна Устюжских Чудотворцев, существовавшей до 1743 года.

1704 г. Воевода Иркутский Шишкин переведен в Якутск, а на его место поступил Мирон Синявин.

1705 г. Из Иркутска отправлена в Камчатку духовная миссия под начальством архимандрита Мартиниана, посеявшего там впервые слово Божие, по благословению Сибирского митрополита Филофея Лещинского.

1706 г. Заложение каменной в Иркутске церкви вместо деревянной Спаса нерукотворного образа, двухэтажной, без колокольни. Церковь эта построена усердием Иркутского воеводы Алексея Сидорыча Синявина с участием граждан города. В храме этом верхний престол Спасителя нерукотворного образа освящен 1710 года, августа 1 дня. Нижний престол Святителя Николая Чудотворца освящен 1713 года, декабря 3 дня.

Заложение деревянного храма во имя образа Тихвинския Божия Матери.

Приехавшему из Кузнецка брату воеводы Синявина, Борису, велено быть в должности воеводского товарища в Иркутске.

В Китай отбыл караван с товарами под управлением купчины Михайла Шорина.

1707 г. В Иркутске открыто викариатство Тобольской митрополии, которого епископом назначен Варлаам (Косовский). Быв сперва наместником Киевского Пустынно-Николаевского монастыря, потом архимандритом Сибирским, Варлаам хиротонисан во епископа 1707 года и имел пребывание в Иркутске; управлял викариатством до 1714 года, потом переведен в Тверскую епархию местным епископом и управлял этою епархиею до 1720 года, а в июне ме-Смоленского. Скончался 1721 года, мая 4 дня в Смоленске.

Уехали в Китай с товарами купцы Петр Худяков и Лука Кочмарев.

1708 г. Церковь Тихвинская окончена строением в этом году и апреля 13 дня освящена викарным епископом Варлаамом. Первый священник этого храма был Филипп Васильевич Образцов, скончавшийся 1751 года, 28 декабря, 86 лет. Покоится при этом храме, против алтаря.

1709 г. Были слухи в Иркутске, что в Камчатке камчадалы взбунтовались против русских, что действительно и подтвердилось. Это был первый Камчатский бунт.

1710 г. Июня 7 прибыл из Москвы князь Василий Гагарин. Ему поручено было сделать следствие о здешнем свободном вино-

---

* Продолжение. Начало в № 4, 1989.

курении и произвести первый рекрутский набор в Сибири. Он ездил за Байкал и в Якутск.

1711 г. Января 5 приехал в Иркутск полковник Степан Лисовский, которому подчинены военные команды, здесь находившиеся. Он был первый военный начальник в Иркутске, а до сего времени все военные люди находились под командою воевод и своих офицеров. Вместо воеводы Синявина определен в Иркутск Федор Рупышев. В других сказаниях он назван Степаном. Это известно потому, что в г. Верхнеудинске Степан Рупышев был казачьим головою, а из этого звания поступил в Иркутск воеводою.

1712 г. Июня 13 получен в Иркутске с нарочным офицером Алексеем Марковым Высочайший манифест о совершенном бракосочетании Государя Цесаревича и Великого Князя Алексия Петровича.

1713 г. Марта 13 дня проехал через Иркутск в Селенгинск отправленный из Тобольска подполковник Прокопий Ступин для встречи китайских послов, едущих к калмыцкому Аюк-Хану, которые возвратились через Иркутск же в следующем году.

1714 г. Воевода Рупышев из Иркутска определен комендантом в г. Верхнеудинск, а вместо его в Иркутск переведен воевода из г. Илимска Лаврентий Ракитин.

1715 г. Прибыл в Иркутск из Тобольска первый миссионер в Китай, архимандрит Иларион Лежайский с братиею. Отправление духовной миссии разрешено китайским правительством вследствие ходатайства русского купечества, ездившего каждогодно в Китай с караванною торговлею; особенно из купцов российских, и, сколько известно, более всех содействовал этому яренский купец Григорий Афанасьевич Осколков*, ездивший несколько раз в Пекин. По этому случаю китайский император Кхан-си, при отправке послов своих к Калмыцкому Хану (проехавших чрез Иркутск 1713 года), начальнику этого посольства, мандарину Тулишину, предписал: чтобы он в проезд свой объявил в Тобольске Сибирскому губернатору, князю Матвею Петровичу Гагарину, что китайское правительство желает иметь в своей столице российское духовенство, что и было исполнено посланником. Князь немедленно донес государю Петру Алексеевичу, давшему указ Тобольскому митрополиту Иоанну Максимовичу, чтобы избрать достойного иеромонаха, посвятить его в сан архимандрита, придать ему священника и причет и отправить в Пекин. Пред получением этого повеления в Тобольске посвящен был в архимандрита Якутского эконом архиерейского дома, иеромонах Иларион Лежайский: после указа он назначается вместо Якутска в Пекин; ему сопутствуют: иеромонах Лаврентий, иеродиакон Филимон и семь человек студентов и причетников со следующим окладом жалования: архимандриту 100, иеромонаху 30, иеродиакону 20 и каждому студенту по 15 рублей в год. Миссия эта прибыла в Пекин 20 апреля сего, 1715, года и была принята с особенною благосклонностью и уважением, оказанными ей не только от китайского начальства, но и от самого богдыхана. Он пожаловал архимандрита Илариона в высокого разряда чин, а все в свите бывшие получили соответственные китайские чины.

Кроме того, китайский император повелел выдать архимандриту и свите его значительную сумму денег единовременно на покупку домов и прочаго обзаведения, и ежемесячно производить жалование деньгами: архимандриту, иеромонаху и иеродиакону, каждому по четыре ланы и пяти чин, а церковникам по одной лане и пяти чин, и каждому лицу известное количество риса. 1718 года апреля 26-го архимандрит Иларион скончался в Пекине. Китайский трибунал уведомил Сибирского губернатора, князя Гагарина, следующим отношением: «Ты прежде просил от императора, чтобы русские, находящиеся в нашем великом царстве, могли молитвы творить и просить от Бога вечнаго между обоих государств мира и для того, из наших, второго ордена

---

* Купец Осколков был один ревностных ходатаев в Китае о допущении туда российского духовенства, потому что с караванами ездило русских людей человек по 200, и были там сверх того албазинцы-христиане.

мандарином Имьяном послал ты архимандрита Илариона, священника Лаврентия, диакона Филимона с седьмью русскими, о коих приходе в сие государство, как скоро доложили мы нашему преудивительному государю, то он архимандрита пятой степени, а священника и диакона седьмой степени мандаринства достоинством пожаловал, прочих же семерых воинами учинил, домы и иждивение и кормы и все потребное им дал, и дабы Осип и прочие седьмь могли жениться, снабдил деньгами и с нашими русскими для молитвы в церкви соединил. В нынешнем же году архимандрит ваш Иларион, болезновав, умре. А как от времени постановления границ между обоими государствами жили мы в великом согласии, того ради послали мы диакона Филимона и служителя Григория, которые вам объявят о смерти архимандрита оного. Ты же, Гагарин, определи, хочете ли сюда прислать архимандрита, или к вам возвратить остальных здесь находящихся; и о сем к нам ответ пришли»*.

Отсюда начинается ряд наших духовных миссий в Пекине.

В апреле месяце прибыл в Иркутск князь Александр Долгорукий с разными поручениями и для встречи из Китая российского каравана с казною. С караваном возвращался купец Григорий Осколков, который, не доехав до Иркутска, умер на пути еще в пределах Китая.

1716 г. В 27 апреля проехали чрез Иркутск в Китай доктор Томас Гарвин, иностранец Лоренц Ланг и с ними комиссар купец Михайло Гусятник при торговом караване. Августа 3 был сильный пожар в Иркутске, истребивший крепость и несколько обывательских домов.

Того же, августа 30-го, вместо воеводы Ракитина, вступил в управление в Иркутске переведенный из города Илимска воевода Ермолай Любавский.

Того же, августа 31-го приехал в Иркутск курьер стольник Федор Трубников с манифестом о радостном событии рождения Великого Князя Петра Петровича; а 3 октября прибыл с таковым же радостным известием стольник Дементий Коноплин, о рождении Великого Князя Петра Алексеевича.

1717 г. Февраля 18-го приехал из Тобольска в Иркутск полковник Яков Емин, командированный для набора из боярских детей и казаков на службу в Камчатку и Якутск. Он с набранною командою отправился в Якутск в конце апреля месяца.

Июня 2-го приехал в Иркутск с манифестом о рождении Цесаревны, Великой Княжны Маргариты Петровны, офицер Адриан Поздняков.

Воевода Любавский переведен в город Мангазею, а в Иркутск вторично поступил Лаврентий Ракитин, который вскоре отправился из Иркутска за Байкал для встречи едущего из Китая с караванною казною купца Гусятникова, которого встретив, самовластно (а в то время говорили, что сделано им по письму Тобольского губернатора Гагарина) отобрал у купца Гусятникова золото, серебро и разные дорогие китайские вещи, за что впоследствии Ракитин был строго сужден**.

Заложен предел святителю Николаю Чудотворцу Спасской церкви.

Иркутская городская крепость выстроена вновь.

Положено основание деревянной Крестовоздвиженской церкви в Иркутске.

Город Якутск поступил в ведение Иркутска.

1718 г. Заложение каменной Соборной церкви во имя Богоявления Господня. Первоначальная Соборная деревянная церковь, построенная 1693 г., сгорела в упомянутый выше пожар 1716 г. августа 3 дня. После этого опустошения, в июле месяце, и была закладка нового каменного Соборного храма, который окончен строением 1723 г. В настоящее время*** в Богоявленском кафедральном соборе престолы: 1-й Богоявления Господня освящен 1741 г. сентября 25 дня

* См. «Сибирский Вестник» Спасского.

** Ракитин сужден в С-Петербурге, где ему отсекли голову. См. «Ис. об Сибири» Словцова. Кн. 1. С. 407.

*** То есть в 1858 г.

архимандритом Нафанаилом; 2-й придел Казанская Божия Матери образу освящен 1764 г.*; на левой руке придел св. пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, честнаго его рождества. Настоящие три престола летние, без печей, или, как называют, холодные. Теплых два престола. 1-й св. Первоверховных Апостолов Петра и Павла, освящен 1724 г., мая 12 дня; второй во имя всех святых. Престол же под колокольнею во имя великомученика Иоанна Воина освящен июня 22-го (а по другим сказаниям, 29-го) преосвященным Иннокентием, первым епископом Иркутским, Святым. Престол этот существовал до 1818 г., когда преосвященный Михаил (Бурдуков) упразднил, а иконостас его со св. иконами отдал в сельский бедный храм. Предание говорит, что был еще отдельный деревянный храм, устроенный над вратами, выходившими на р. Ангару, во имя архангела Михаила, упраздненный епископом Софронием по ветхости. Но был ли этот храм, в летописях Иркутска не записано. Собор обнесен каменною оградою, внутри ее находятся каменные здания: архиерейский дом с церковию во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, семинария, деревянные келии для соборной братии и притча и две каменные колокольни: первая построена в связи с храмом Богоявления, а вторая отдельно, для большого колокола, вылитого 23 сентября 1797 г., в котором весу 761 пуд**.

Сего года заложена деревянная церковь во имя Святыя Троицы, усердием и капиталом дворянина Петра Медведева, с приделом Св. Апостол Петра и Павла, по благословению высокопреосвященного Федора (Лещинского) митрополита Сибирского. В этом храме придельный престол Св. Апостол освящен в 1721 г., июня 24 дня, архимандритом Антонием (Платковским). Место, где построена эта церковь, жителями называлась Потеряихой.

В июне приехали из-за Байкала послы калмыцкого Аюк-Хана, бывшие у Далай-ламы.

Воеводе Ракитину и полковнику Рупышеву велено немедленно выехать в Тобольск. За отъездом воеводы Иркутского, управление поручено дьяку Никифору Кондратьеву; но и этот уехал в Тобольск; тогда правителем воеводских дел в Иркутске остался дворянин Яков Бейтон.

В июле месяце было страшное наводнение, от большого разлития реки Иркута, в верховьях которого у бурят и по деревням всего прибрежья реки у жителей затопило все сенокосные луга и острова, а в Усолье в амбарах замочило соль и разнесло множество дров.

В декабре прибыл в Иркутск на следствие по жалобам чиновник Митрофан Воронцов.

Построена деревянная церковь Владимирской Божией Матери.

1719 г. Определен в Иркутск воеводой Нерчинский комендант Степан Ракитин. Он тщательно занимался делами управления, но был строг до жестокости. Действия его дошли до сведения высшего начальства, почему и прибыл из Тобольска в Иркутск в марте 1722 г. чиновник для его ареста и описи его имения, по исполнению сего он вскоре отправлен к своему начальству, водою на судах, по р. Ангаре.

В марте месяце проехал через Иркутск

---

* Этот храм есть усыпальница почивших Иркутских архиереев: Софрония, Михаила 1-го, Вениамина и архиепископа Михаила 2-го; тут же покоятся и обгоревшие останки Камчатского архимандрита Пахомия, погибшего во время сгоревшей семинарии здесь 1776 г. февраля 14-го дня.

** В № 52 «Ирк. губ. вед.» за 1858 г. напечатаны «Дополнения и поправки к первому столетию Иркутской летописи» составителя ее г. Пежемского. Под 1718 годом в «Поправках» записано следующее: «О построении соборной церкви Богоявления Господня сказано, что престол св. Иоанна Предтечи освящен в честь его рождества, это ошибка: он устроен во имя Усекновения честныя его главы. Некоторые из зданий, находящихся внутри соборной ограды, описаны ошибочно; в настоящее время существуют каменные здания, архиерейский дом с церковью Покрова Пресвятыя Богородицы, консистория, духовные уличища, уездное и приходское с тремя флигелями, в коих помещаются кухня, столовая и больница, деревянный флигель для братии архиерейского дома и служителей.

за Байкал, а в мае прибыл обратно в Иркутск высокопреосвященный митрополит Тобольский и Сибирский, схимонах Феодор (Лещинский). Его высокопреосвященство удостоил освятить деревянную церковь Воздвижения Св. Креста в Иркутске, о чем свидетельствует памятник, стоящий на месте прежнего деревянного храма близ каменной Крестовской церкви*.

Июля 1-го прибыл в Иркутск, для производства следствий в Иркутске и за Байкалом, лейб-гвардии капрал Максим Пушкин**.

Того же, июля 7 д. приехал майор Федор Неронов с манифестом о рождении царевны Наталии Петровны.

Назначен посланником в Китай лейб-гвардии капитан Лев Измайлов.

Иркутск сделан главным городом одной из провинций вновь утвержденной сибирской губернии.

1720 г. Марта 30 прибыл в Иркутск, проездом в Китай, известный посланник Петра Великого Лев Васильич Измайлов. Свиту его составляли: два секретаря — Лоренц Ланг и Иван Глазунов, переводчик, подьячий, лекарь Бель, два геометра — Валуев и Игнатьев, гвардии унтер-офицер князь Засекин, три солдата*** и священник, отпущенный из Тобольска. Замечательно, сколько времени потребно было в ту пору для поездки из Москвы в Иркутск. 7 сентября 1719 г. Измайлов выехал из Москвы, 20 октября прибыл в Казань, 16 декабря в Тобольск, 30 марта 1720 г. в Иркутск, 28 мая в Селенгинск, 20 сентября на границу — в Сорочины. 23-го отбыл в Китай, в 40 дней достиг Калганской стены, и 18 ноября Измайлов имел торжественный въезд в Пекин. Измайлов ехал верхом на богато убранной ханской лошади, и вся свита его следовала верхом на лошадях из придворных конюшней при звуке труб и литавр. Ноября 28 Измайлов был представлен императору Кан-хи. Цель посольства состояла в заключении договора о торговле; но дела Измайловым не были кончены, а потому и оставил он в Пекине агента — Лоренца Ланга. 23 февраля Измайлов имел

---

* Митрополит Феодор (в мире Филофей) Лещинский при управлении Сибирскою митрополиею возлюбил Тюменский Троицкий монастырь и желал окончить там свое благочестивое поприще, почему и просил, по скудости в те времена денежных средств, у Императора Петра Великого денежного пособия для сооружения в том монастыре церкви. Император даровал ему 1000 рублей, и на эти деньги он соорудил небольшую каменную церковь, существовавшую до сего времени, во имя Св. Троицы. Феодор имел в этом монастыре пребывание на покое, и в духовном завещании между прочим сказал: похоронить меня при входе первозданной мною церкви, чтобы мимоходящие попирали мой прах ногами. По блаженной его кончине, последовавшей 31 мая 1726 г., завет его исполнен в точности, но потом благочестивые ревнители соорудили сему святителю надгробный памятник и обнесли его красивою чугунною решеткою.

** К «Летописи» за 1719—1722 гг. присоединены в 1858 г. редакцией «Губ. вед». «Добавления и Варианты», которые мы будем помещать в подстрочных примечаниях, обозначая буквами Д. и В. К сообщению летописи о приезде в Иркутск Пушкина относится следующее добавление: «В списке «Иркутского летописца с 1652 по 1777 г.», доставленном нам, сказано об этом Максиме Пушкине, что он прислан из Тобольска от генерала и лейб-гвардии майора Ивана Лихачева с товарищами. Он допрашивал, вследствие доносов, коменданта Ракитина и прочих, «себя же вел,— говорит эта летопись,— весьма строго, лихоимственных подарков и взятков ни от кого и ничего не принимал. В 1720 году зимою ездил по следствию с коменд. Ракитиным в Нерчинск, а по приезде оттуда конфисковал имение торговавших беспошлинно китайским товарами: Елизарьева, Астафия Пуляева и Афанасия Мясникова». О тогдашнем Иркутском коменданте Степ. Ракитине эта летопись выражается, что он «с первого вступления своего весьма с подведомственными ему жестоко поступал, ибо и за малые вины велел наказывать кнутом; но потом, как прибыл за следствием л. г. капрал Пушкин, то и жестокость свою отменил; в казенных сборах и в канцелярских делах был он радетелен, а подьячих за отправлением рапортов и ведомостей держал в канцелярии почти не исходно. При нем канцелярские дела направлял подьячий Як. Андреев, который потом был в Тобольске в комиссариатской конторе писарем, а после того в губерн. канцелярии секретарем». *(Д. и В).*

*** «В означенном рукописном Ирк. лет. сказано, что с Измайловым было триста солдат, что он выехал из Москвы 16 июля 1719 г. и что в Китай с ним поехал купчина Федор Юринский». *(Д. и В.).*

отпускную аудиенцию и 2 марта 1721 года выехал из Пекина на 90 верблюдах и стольких же лошадях в сопровождении дзаргучея.

Примечание. Богдыхан царствования Кан-хи или Кхань-си, а по-маньчжурски Елхе-Гайфин, вступил на престол 1661 года, имел от жен своих семьдесят сыновей, кроме дочерей; был любитель наук, знал астрономию и географию; обучался у иезуитов. Жил 69 лет, скончался 9 декабря 1722 года.

Здесь кстати привести достопамятные слова этого богдыхана, сказанные Измайлову: «Я скажу тебе два слова, и ты ничего не ответствуй, а имей оные в памяти, для донесения своему Государю. Первое: твой Государь такой великий, славный Монарх, и владение имеющий великое, ходит против неприятеля на кораблях своею высокою особою. Море махина великая; бывают на оном волны сильные, а от того страх немалый, почему изволил бы здоровье свое хранить. У него воины добрые и слуги верные,— есть кого посылать, а самому должно оставаться в покое. Второе: хотя со стороны российской уходят сюда по 20 и 30 человек, так же как и из Китая в Россию, но от таких бездельников дружба наша никогда не изменится; ибо я, богдыхан, всегда желаю содержать с Его Величеством мир ненарушимый. Да и за что нам ссориться? Российское государство холодное и дальнее; если б я рассудил послать туда свои войска, то все они погибнут; а хотя бы чем и завладеть мог, какая была бы мне прибыль? Также и Российский Государь если вышлет против меня свои войска в сторону жаркую, к чему не привыкли люди ваши, то разве для того только, чтоб они напрасно умирали? Какую пользу принесут нам завоеваниня: в обоих государствах земли множество».

Прибыл из Тобольска в Иркутск драгунского полка капитан Дмитрий Павлуцкий, проездом на службу в Якутск и Камчатку. Имя его знаменито в истории Сибири. Он погиб в борьбе с чукчами, в числе 80 чел. русских храбрецов; могила его по сие время неизвестна*.

1721 г. Учреждена и открыта в Иркутске земская контора и рентария, в которую первые определены были на службу из дворян комиссары: камерир Осип Игнатьев и рекетмейстер Иван Лывцов.

Января 7-го река Ангара покрылась льдом, причем последовало в Иркутске чрезвычайное наводнение, затопившее береговые места города; вода разлилась также по некоторым улицам. А когда река вскрылась — неизвестно.**

Января 16 Троицкой церкви придельный престол Св. Апостолов Петра и Павла первоначально после постройки освящен строителем Возн. монастыря Корнилием, а 24 числа июня главный престол Св. Троицы освящен (Пекинским) архимандритом Антонием Платковским. Другие сказания относят освящение Троицкого престола к 1722 году***.

Сего года день 5 марта должен быть памятным днем для всех чтущих память Святителя Иркутского Иннокентия, потому что он в сей день в С.-Петербурге, в присутствии Государя Петра Алексеевича в Троицком соборе (что ныне Лавра) преосвященными: Стефаном Яворским, митрополитом Рязанским, Феодосием, архиепископом Новгородским и Феофаном Прокоповичем, епископом Псковским хиротонисан в епископа Переславского и тогда же назна-

---

* Наш рукописный «Ирк. лет.» относит к этому же 1720 году (а не к 1713 г.) постройку церкви Владимирской Богоматери в Иркутске, там, именно, сказано: «...в апреле 1720 г. начата в Иркутске строением первая Владимирской Богоматери церковь, которую и заводил и на строение ее собирал блаженный Даннил». (*Д. и В.*).

** «Ирк. лет.», упоминая об наводнении этого года, говорит, что «против Троицкой церкви, у Медведева возвышения, воды было аршина на полтора». При освящении придела Троицкой церкви сего 1721 года сказано, что «когда кругом церкви священники обошли и за ними народ пошел, тогда на северной стороне лед подломился». (*Д.* и *В.*).

*** Освящение Троицкого престола архим. Антонием, записанное в наших летописях стариками, кажется наверно, потому что Антоний Платковский уехал в Пекин с посланником Измайловым 1720 г. Следовательно, мог ли он быть в Иркутске в 1721 году? *Авт.*

чен начальником духовной миссии в Пекин. Епископ Иннокентий Кульчицкий до хиротонии был Александро-Невской лавры соборным иеромонахом, потом префектом и философии учителем в Московской славяно-греко-латинской академии и флота обер-иеромонахом. 19 апреля того же года, в сопровождении двух иеромонахов, пяти человек певчих и трех служителей выехал он из С.-Петербурга в Иркутск.

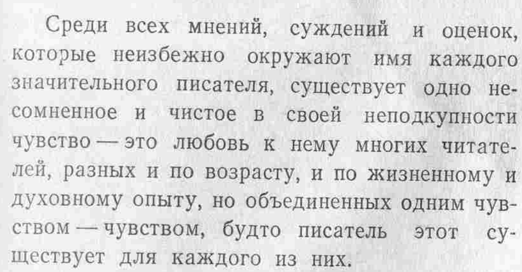
Сего же марта м. приезжал из Тобольска чиновник с указом для описи имения бывшего Иркутского коменданта Степана Ракитина, и самого его, по описи имения, взял с собою и уплыл Ангарою в Енисейск.

В апреле приехал из Тобольска камерир Федор Петров на смену камерира Игнатьева и был в должности до закрытия земской конторы, по 1728 год.

Приезжал из С.-Петербурга лейб-гвардии сержант Трифон Бестужев-Рюмин за требованием разных бумаг из присутственных мест в Иркутске.

Наталья ПОДОЛЯНЧУК

ДУША И ИМЯ



Среди всех мнений, суждений и оценок, которые неизбежно окружают имя каждого значительного писателя, существует одно несомненное и чистое в своей неподкупности чувство — это любовь к нему многих читателей, разных и по возрасту, и по жизненному и духовному опыту, но объединенных одним чувством — чувством, будто писатель этот существует для каждого из них.

Да, как бы много мы ни читали, навсегда с нами остаются только они — пять-шесть любимых авторов, и редко с годами к ним прибавляется еще два-три. Постоянные спутники нашей жизни, посланные нам для утешения и надежды, они, как друзья, у каждого свои. А друзей и не может быть слишком много.

Александр Вампилов... Легче писать о нем тем, кто его знал, помнит, и сегодня воспоминаний этих, подчас необязательных и случайных, обнародовано немало; пишут и те, кто совершал когда-то по отношению к нему неблаговидные поступки... Но это уже, как говорится, дело их совести. Нам же, которые при его жизни были слишком молоды или по другим обстоятельствам не могли знать его, остались его пьесы, рассказы, очерки...

Уже много лет книга Александра Вампилова «Дом окнами в поле» для меня одна из тех, к которым обращаешься постоянно. Так безотчетно и сильно может тянуть к себе только другая душа, и душа прекрасная. В идеале надо бы, чтобы и в каждой книге, изданной у нас, была душа, но увы, и в книгах прекрасную душу, достойно воплотившуюся в слове, встречаешь не чаще, чем в жизни.

Известны слова Н. М. Карамзина, обращенные к писателям: «Творец всегда изображается в творении, и часто против воли своей... Ты берешься за перо и хочешь быть автором: спроси же у самого себя, наедине, без свидетелей, искренно: каков я? ибо ты хочешь писать портрет души и сердца своего». Но обычно неудачную писательскую судьбу объясняют чем угодно, только не скудостью внутреннего мира писателя, не его несостоятельностью; а между тем это одна из причин, почему книги многих авторов, в том числе и иркутских, не привлекают к себе ни критику, ни широкого читателя.

В этих книгах автор не то чтобы несимпатичен (хотя и такое бывает), он — никакой, его будто и нет: вместо лица видишь какое-то смутное неопределенное пятно; ни страстного чувства, ни гнева, ни смелой мысли, ни поэзии — ничего, что хоть как-то бы вызвало ответное читательское чувство. И вот эту недостаточную проявленность авторской личности замечаешь теперь в книгах очень часто.

Открывая «Дом окнами в поле», мы встречаем Александра Вампилова.

Кажется, будто сама душа его так и смотрит с каждой страницы этой книги; вот пример полного и свободно-радостного самовыражения, для которого, как видно, прежде чем оно осуществилось, немало потрудилась душа. Но труда этого, как и у всех мастеров, не видно, а видны только красота и гармония, и кажется, будто все это сделалось как бы само собой, с необычайной легкостью. Теперь-то мы знаем, как много он работал, по скольку раз переделывал написанное, и суть этого труда тоже была одна — чтобы из труда родилась радость, то есть совершенство. В последнем слове нет преувеличения. Вот что писал режиссер Г. А. Товстоногов: «Пьеса Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», по моему убеждению, — почти совершенство. Когда я над ней работал, мне казалось, что там нельзя убрать даже запятой. Я относился к ней так, как, скажем, к пьесе Чехова или Горького».

Известна давняя истина, что книгу, которую не хочется прочесть во второй раз, не стоило читать вообще. Может быть, по отношению к драматургии это суровое требование несколько смягчается: все-таки пьеса существует для того, чтобы смотреть ее пос-

тановку, а не читать, и многие современные пьесы и живут-то только благодаря сцене, читать их трудно, а уж перечитывать и вовсе невозможно. Но, говоря Вампилове, мы открываем удивительное свойство его драматургии: его пьесы хочется читать и перечитывать, то и дело возвращаться к ним по особой душевной потребности, и в этом отношении как не сравнить его с Чеховым, пьесы которого тоже можно перечитывать бесконечно.

Многомерность, полнота и глубина чувств, таинственная связь слов и интонаций, отсутствие обыденности, поэзия, простота и особенное, существующее помимо сюжета счастье, которое есть во всяком настоящем произведении искусства, отличают театр Вампилова. Словом, это драматургия, сохранившая все достоинства высокой прозы и обладающая вместе с тем необычайной сценичностью.

Но вот парадокс: один из самых театральных драматургов, Вампилов что-то неуловимо теряет при постановке его пьес на сцене, в спектаклях появляется какая-то несвойственная ему однозначность, упрощенность. Как будто то, что сказано в пьесах словом, — многочисленные ремарки, характеристики — не находит равного воплощения в сценических образах. Пьесы неизменно остаются богаче, интереснее спектаклей. Было это ощущение и на спектакле «Прощание в июне», поставленном по одному из первых вариантов пьесы в Иркутском тюзе, а надо заметить, что этот ранний вариант вообще менее вампиловский — в том смысле, что, меняя текст, автор делал это не случайно, а шел, очевидно, таким образом к самому себе, к более полному выявлению важных для себя тем, вопросов; к примеру, тема денег звучит в окончательном варианте совсем иначе, без особого акцента, и т.д. И уж совсем скучным, с неудавшимся главным героем оказался спектакль «Утиная охота» в Иркутском драматическом театре, он и просуществовал-то недолго.

А вот и последняя постановка — спектакль «Предместье» по пьесе «Старший сын» в Иркутском тюзе, осуществленная два года назад В. Кокориным. Хорошо помню премьеру этого спектакля в октябре 1987 года — в зрительном зале драмтеатра ни одного свободного места, много гостей, прибывших на празднование 50-летия драматурга. Обстановка радостного ожидания, праздничной приподнятости... И грустно было видеть, как потом, по ходу спектакля, это настроение сменилось почтительной скукой, слегка скрашенной вежливыми аплодисментами. И хотя позже то тут, то там мелькали в областных газетах одобрительные оценки спектакля, правда, слишком общие и торопливые, а рецензий не появилось ни одной, все-таки называть эту работу удачей, а тем более новым прочтением Вампилова вряд ли верно.

Удручало прежде всего оформление спектакля: как сейчас вижу над сценой две простыни, кое-где тронутые зеленкой, то ли просто ограничивающие пространство, то ли обозначающие стены квартиры; весь спектакль сцена погружена в темноту, только лица актеров освещаются слабым светом, впрочем, совершенно недостаточным, чтобы их разглядеть; то и дело нервно курит О. Мокшанов, исполняющий роль Бусыгина, видимо, таким нехитрым способом пытаясь передать свое волнение... Да, все это вроде бы частности, но такие, которые, мало согласуясь с общим замыслом, постоянно отвлекают внимание и, может быть, именно поэтому помнятся дольше удачных находок.

Судя по прессе, не блещут успехом в постановке Вампилова и другие театры, нечем особо похвалиться и кинематографу. Фильм Г. Панфилова «Валентина», телевизионные фильмы В. Мельникова «Старший сын» и «Охота в сентябре»... Из них, пожалуй, только «Старший сын» заслуживает одобрения; «Валентина» напоминает снятый на пленку спектакль, в котором Шаманов (арт. Р. Нахапетов) пугающе-холоден, а Валентина (артистка Д. Михайлова) излишне робка, нераскрыта. «Охоту в сентябре» (по пьесе «Утиная охота») тоже удачей не назовешь. Мрачно-замкнутый мир фильма и такой же мрачный, опустошенный герой (арт. О. Даль) не вызывают никакого сочувствия. Опять мы имеем дело с упрощением центрального образа — у Вампилова Зилов гораздо сложнее, интересней, — и с упрощением пьесы.

Вообще доискаться до сути этих потерь не

так-то просто: всё как будто на месте, а чего-то недостает. Может, души? Души автора, которая так отчетливо присутствует в пьесах и так неуловимо то ли теряется, то ли подменяется в постановках чьей-то другой душой — режиссера, актеров? И до тех пор, пока это будет происходить, будет существовать и тайна, загадка Вампилова. Загадка — то есть неразгаданность. Собственно, и чувство-то неразгаданности возникает именно на спектаклях, а не при чтении пьес. Пьесы как раз впечатления загадки не оставляют, потому что в них сказано все, что может быть сказано словом. И дело, вероятно, именно за тем, чтобы нашелся режиссер, сумевший прочесть Вампилова.

В то же время нельзя не согласиться с мнением критика М. Любомудрова, полагающего, что для воплощения вампиловских пьес важен актер. «Не уровень его техники, не блеск сценических эффектов, а духовный масштаб человеческой личности актера, его способность вместить и раскрыть сложные нравственные процессы, которые совершаются в вампиловских персонажах» (Сибирь», 1988 г. № 1).

В связи с этим вспоминается еще один спектакль «Утиная охота», поставленный десять лет тому назад народным театром Иркутского мединститута (режиссер Р. В. Курбатова). В этой постановке недостаточная профессиональность актеров-студентов возмещалась их непосредственностью и чистотой, и это не только не снижало достоинства их игры, но наоборот придавало ей особое обаяние. К сожалению, спектакль этот мало кто видел.

Да, с каждым годом Вампилова ставят все больше и охотнее, о нем много говорят, пишут, думают. Но всегда ли это приближает его к нам? Прошло 13 лет, как М. Туровская писала о «восторженном непонимании» Вампилова, которым он окружен на страницах прессы. И вот через столько-то лет проблема понимания, а точнее, непонимания драматурга не только не снята, но всегда отыщутся два-три свежих примера, как бы нарочно доказывающие, что до понимания нам еще ой как далеко.

Не претендуя, разумеется, на истину в последней инстанции, я хочу оспорить лишь то, что мне представляется сомнительным в некоторых из последних публикаций. Юбилейный для Вампилова 1987 год был на такие публикации щедрым — интервью, воспоминания, статьи появились в местной и центральной печати. Все было достойно внимания, но не все, повторяю, бесспорно.

Вот в газете «Восточно-Сибирская правда» (14 июля 1987 г.) в статье Б. Преловской «За кулисами гастролей» приводится мнение ленинградского театрального деятеля Николая Товстоногова, объясняющего, почему на рубеже 60—70-х годов трудно было поставить в театре Вампилова. «Время было такое, — говорит он, — не вписывались в рамки народных героев ущербный Сарафанов и авантюрный Бусыгин».

Положим, народным героем Сарафанова действительно не назовешь (да и только ли в них нуждался тогда и нуждается теперь театре?), что же касается его ущербности, то тут нельзя не поспорить.

Мне кажется, Сарафанов — герой пьесы «Старший сын» — не только не ущербный, но это такой человек, каким и должен быть человек. В некотором смысле это даже идеальный герой. Попасть в ситуацию, в какую попадает он, и при этом ни в чем не сфальшивить, оставаться каждую минуту самим собой, быть искренним и с достоинством выходить из неловких положений — это под силу, конечно, только характеру незаурядному, цельному. А «ущербность» его может быть отнесена только к одному — к неудавшейся карьере музыканта Сарафанова. Но ведь, в конце концов, искусство, исследует не карьеру работника, пусть даже и творческого, а душу человека. Для Вампилова важно не то, что Сарафанов не стал большим музыкантом, а то, что он, несмотря на жизненные неудачи, сохранил в душе доброту и человечность. Чем больше в человеке человека, тем дороже он Вампилову. Не зря ведь именно Сарафанову отданы заветные мысли писателя о творчестве, о жизни.

«...Жизнь справедлива и милосердна. Героев она заставляет усомниться, а тех, кто сделал мало, и даже тех, кто ничего не сделал, но прожил с чистым сердцем, она

всегда утешит», — говорит Сарафанов. Эти слова многое объясняют в его образе и вообще в пьесе. У нас же обычно Сарафанова играют этаким простоватым чудаком, над которым можно посмеяться, но не полюбить его. Человеческая глубина, достоинство героя остаются как бы в тени. И когда такая трактовка образа навязывается зрителю, то чувства его поневоле оказываются беднее чувств того же Бусыгина, душевное состояние которого в конце пьесы можно выразить словами поэта: «За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью». А добро и любовь исходят в пьесе от Сарафанова.

Несомненно, любит Сарафанова и автор, и только почему-то режиссеры никак не могут избавиться по отношению к этому персонажу от непонятного высокомерия.

Вообще внешний успех для многих людей значит сейчас гораздо больше, чем он того стоит. И, может быть, главное назначение искусства и заключается в восстановлении истинных ценностей, которые в жизни то разрушаются, то подменяются другими, ложными ценностями.

Немало возражений вызывает также статья И. Зборовца «Художественный мир драматургии А. Вампилова» («Сибирь», 1987, № 4).

Основательная по содержанию и академичная по форме, она скорее напоминает фрагмент диссертации, чем литературно-критическую статью. Но вопрос в другом: разве научность предполагает непременно постижение художественного произведения рассудком, а не чувством? А именно такой путь избирает И. Зборовец. Его работа — это пример того, как Вампилов, который весь, от первой до последней строки, обращен к душе и сердцу читателя, может, оказывается, быть прочитан и в высшей степени рассудочно. Труд души заменяется здесь трудом ума; подмена не столь уж безобидная, если в конечном итоге она ведет не к постижению, а к искажению истины.

Справедливости ради надо отметить, что в статье И. Зборовца немало высказано правильных мыслей, но что делать, если правильные мысли в обширной литературе о Вампилове давно уже потеряли свою привлекательность и от многократного их повторения стали общим местом. Образно говоря, мы видим поле, за эти полтора десятилетия распаханное критиками столь тщательно, что почти невозможно найти на нем полоску нетронутой целины.

Что же в статье И. Зборовца представляется мне спорным? Сразу хочу уточнить, что речь пойдет вовсе не о толковании художественных образов, а о вещах более простых — о понимании фактического, так сказать, материала, о том, что, как и почему случается в пьесах Вампилова.

Остановлюсь на трех характерных моментах. Вот как, к примеру, объясняет И. Зборовец разрыв Зилова и Галины (пьеса «Утиная охота»): «Галина любит Виктора и все же находит в себе силы порвать с ним. Чтобы уехать от мужа навсегда, она придумывает историю о друге детства, который зовет ее к себе». Но разве у автора Галина *придумывает* друга детства? Нет никаких оснований предполагать, что она обманывает Зилова, и, наоборот, много доказательств обратного. Разговор между Галиной и Зиловым о друге детства заходит на протяжении пьесы трижды, и каждый раз с такими достоверными подробностями, от которых не отмахнешься.

Вот Галина говорит о нем Зилову первый раз, в день новоселья:

— Знаешь, сегодня я получила письмо. Совсем неожиданно. И, думаешь, от кого?.. Представь себе, от друга детства. И как только он обо мне вспомнил — удивительно... Наши родители дружили, а мы с ним были жених и невеста. А разъехались, когда нам было всего по двенадцать лет. Он был очень смешной. Когда мы прощались, он заплакал, а потом сказал, и, знаешь, совсем серьезно: «Галка, укуси меня на прощанье. . .» Пишет, что у него не удалась семейная жизнь. Намерен век прожить холостяком.

Второй раз разговор о друге детства заходит в кафе «Незабудка», в день, когда Зилов получает телеграмму о смерти отца. Оскорбленная тем, что Зилов отталкивает ее в такую печальную минуту, не хочет принять ее участия, помощи, Галина вновь говорит о своем друге, и это дает Зилову повод все

драматизировать, довести выяснение отношений до ссоры.

И, наконец, к кому же уезжает Галина, как не к другу детства? Достаточно перечитать сцену прощания Зилова и Галины, чтобы убедиться в этом.

К разряду такой же фактической неточности относится и следующее утверждение критика: «Собираясь выступать на суде, следователь этим поступкам хотел в какой-то мере поддержать Валентину, помочь ей укрепить себя в трудный момент. Именно такой смысл он вкладывает в слова, когда говорит: «Мне это надо.И не мне одному». («Прошлым летом в Чулимске)».

И вот эти-то слова — что своим выступлением на суде Шаманов хочет поддержать Валентину — прямая неправда. Опять же из пьесы понятно, что здесь Шаманов имеет в виду совсем других, городских людей, с которыми он был связан в своей прежней следовательской практике. В утреннем разговоре с Кашкиной он признается: «Между прочим, суд состоится на днях... Я получил повестку... Кое-кто в городе ждет, что я примчусь туда и буду на этом суде выступать».

Яснее, кажется, и сказать нельзя. Шаманова ждут в городе, и он едет, чтобы восстановить справедливость. Валентина же, по сюжету, и знать не знает об этой истории Шаманова, вся сложная внутренняя работа, свершающаяся в душе следователя, ей просто неведома, недоступна. Так может ли в таком случае поступок Шаманова иметь для нее то значение, которое усмотрел критик? Очевидно, что нет — здесь сюжетные линии идут не пересекаясь.

Думается, что подобные сбои в серьезной критической работе происходят от торопливого чтения и излишне свободных предположений, ни в малейшей мере не подкрепленных текстом.

К такого же рода необоснованным и психологически неверным домыслам относится и утверждение И. Зборовца, что Валентина якобы не прочь после того, что с ней случилось, выйти замуж за Мечеткина. Автор пишет: «До сих пор критики не обратили внимания на реплику Валентины: «Я была с Мечеткиным», которая не снимает возможности ее замужества с бухгалтером. Она готова пойти на эту жертву. В этом случае замужество для нее — акт искупления и наказания за максималистские требования к жизни. Валентина публично произносит имя Мечеткина, потому что он поступил как порядочный человек: представился Помигалову в качестве жениха, сделал предложение. Но, выходя замуж за Мечеткина, Валентина перечеркивает себя».

Вот это, мне кажется, и есть пример чисто рассудочного, трезво-житейского прочтения Вампилова. Возможно, по отношению к иным авторам подобный метод анализа и приемлем, но Вампилов под таким критическим пером меняется до неузнаваемости: его поэзия тут же оборачивается прозой, бытие снижается до быта, страсть благоразумно умещается в рамках будничного расчета, да и от самой жизни уже не остается ничего, кроме скучной схемы. Поневоле подумаешь: как «умом Россию не понять», так, видимо, не понять умом до конца и русского писателя.

Почему же все-таки Валентина не может выйти зажуж за Мечеткина? Как когда-то говорили: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. То есть и для нее, и для нас это опять-таки решается одним только чувством. Но и помимо чувства рассудить: что уж за неволя такая — идти ей за этого бесцветного нудного человека? Ради кого и чего приносить себя в жертву, как пишет критик? Один раз она уже собой пожертвовала — пожалела Пашку. Ей бы от одной этой жертвы прийти в себя, опомниться да осмотреться, а ей уж новое жертвоприношение пророчествуют.

Нет, в таких натурах, как Валентина, есть и стойкость, и вложенная в душу, как дар, чистота, а это значит, что сознательно «перечеркивать» себя они не станут ни под какими ударами судьбы. Унижение в любых его формах — не их удел. Они предпочтут что угодно, только не унылое благополучие за высоким забором.

Скорей всего, если говорить о будущем, Валентина уедет в город, пойдет учиться, станет внешне похожей на многих городских студенток... Но памятное чулимское лето, когда на ее пути встали две по-разному изломанные жизни Пашки и Шаманова и ког-

да она сама чуть было не сломалась, не изверилась, — это лето, конечно, никогда ею не забудется...

Все творчество Александра Вампилова подчинено одной цели — выправлению жизни в лучшую, духовную сторону. В большей или меньшей степени это происходит во всех его пьесах. Рядом с Валентиной духовно возрождается, выпрямляется Шаманов. Рядом с Сарафановым лучше становится Бусыгин. Так оно и бывает: одни люди нас возвышают, дают нам силы, другие склоняют к безверию, пошлости. Драма Зилова, помимо его несомненной личности вины перед собой, еще и в том, что в его жизни нет ни Валентины — спасительности, ни Сарафанова с его чистой верой в человека. Шаманов еще может быть счастлив, Зилов — едва ли. Слишком подорваны его духовные силы пустой бесцельной жизнью, и опереться ему не на кого, ему же необходимо опереться, это тот случай, когда человека может спасти только другой человек. Но спасение от людей не приходит, и ему остается самое трудное — найти опору в себе, в своих истощившихся силах, в тех крохах веры и надежды, которые еще не утрачены окончательно.

Чем только не испытывает Вампилов своих героев! Одиночеством, смертью, любовью, доверием, несправедливостью, деньгами, властью... И никуда человеку от себя не деться, какой он есть, таким он себя и покажет. И только одно может быть ему надеждой — что, упав, он поднимается, а поднявшись, не потеряет связи с людьми, не оторвется от своих корней.

Считается, что А. Вампилов писал о своем поколении. Но вот минуло больше полутора десятков лет, и уже следующее, наше поколение достигло его возраста, и когда мы оглядываемся вокруг, то разве не те же проблемы, еще только сильнее обострившиеся с годами, мы видим вокруг? Те же испытания выпадают и на нашу долю, и по-прежнему самое трудное — это остаться самим собой, не потерять душу, веру в людей. И вечные вопросы, которые задает жизнь, и новые ответы, которые надо найти на них, — все это повторяется и с нами... Как духовное завещание звучат для нас сегодня слова Александра Вампилова: «Каждый человек родится творцом, каждый в своем деле, и каждый по мере своих сил и возможностей должен творить, чтобы самое лучшее, что было в нем, осталось после него...»

Наталья Григорьевна Подолянчук родилась в 1950 году в поселке Октябрьском Амурской области. Закончила Иркутский государственный университет, отделение журналистики.

Критические статьи публиковались в газетах, в альманахе «Сибирь».

Живет в Иркутске.



Фаня ПОЛИЩУК

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И КНИГА

Великий русский революционер-демократ Н. Г. Чернышевский (1828 — 1889 гг.) большое значение придавал книге. Об этом свидетельствует автобиографические заметки, письма к родным и близким, дневники.

В доме его отца протоиерея Сергиевской церкви в Саратове Гаврила Ивановича была значительная по тому времени библиотека, состоявшая как из книг духовного содержания, так и светского. В автобиографии Н. Г. Чернышевский писал: «Я сделался библиофагом, пожирателем книг, очень рано». Это подтверждает саратовский педагог, краевед и книгопродовец Ф. В. Духовников.

С сентября 1861 г. Н. Г. Чернышевский находился под тайным надзором полиции, а 7 июля 1862 г. он был арестован и заключен в Алексеевский равелин Петропаловской крепости. Во время пребывания в крепости Н. Г. Чернышевский не расставался с книгами. Сохранился список книг из 58 названий на русском, французском, английском, немецком языках, прочитанных Н. Г. Чернышевским в крепости из его личной библиотеки.

Читательские интересы Н. Г. Чернышевского разносторонни. В списке литературы значатся исторические, философские, естественно-научные, беллетристические сочинения. Среди авторов: П.-Ж. Беранже «Песни» (перевод В. Курочкина); Н. А. Некрасов «Стихотворения»; Н. И. Костомаров «Исторические монографии и исследования»; Левенгард «Единство законов нравственности и природы»; Овидий (3 тома), Ж. Лагранж «Опыт решения численных уравнений всех степеней».

19 мая 1864 г., после обряда гражданской публичной казни, Н. Г. Чернышевский был осужден царским правительством на 7 лет каторжных работ с последующим поселением в Сибири. Два года он находился в тюрьме при Кадаинском руднике, а затем его перевели в село Александровский завод Нерчинского округа. В августе 1871 г. истекал срок тюремного заключения Н. Г. Чернышевского, после которого он должен был выйти на вольное поселение. Но царское правительство обрекло революционера-демократа на новое тюремное заключение — отправило его в Вилюйский острог — в Якутию, где он находился с 11 (23) января 1872 г. по 24 августа (2 сентября) 1883 г.

В Сибирь Н. Г. Чернышевскому были отправлены некоторые книги из его библиотеки, среди которых находились сочинения М. Ю. Лермонтова, А. Кольцова, Теккерея. Цензура III отделения не пропустила сочинений Ж. Санд, вычеркнув из списка эту фамилию. Неизвестно, кто постарался снабдить Н. Г. Чернышевского библией на французском языке и «Новым Заветом» на русском.

Несколько книг Н. Г. Чернышевский привез с собой в Вилюйск. По утверждению революционера-шестидесятника В. Н. Шаганова, в Вилюйск Н. Г. Чернышевский привез только «Конведсационный лексикон» и три тома атласа Брокгауза. В ссылке он энергично пополняет свою библиотеку, обращаясь с просьбами о присылке книг к жене, сыновьям, друзьям, издателям. В письме к родным от 24 нября 1873 г. он, обращаясь к сыну Александру, пишет: «Книги — прекрасная вещь; и новые мысли — и так называемые благородные мысли».

29 февраля 1872 г. Якутское областное управление препровождает вилюйскому исправнику на имя Н. Г. Чернышевского книги, отправленные ему друзьями. Книги вместе с описью были получены Н. Г. Чернышевским в Вилюйске 19 апреля 1872 г. В описи 10 названий книг: Брокгауз «Конверсационный лексикон» (16 томов), Таксель Делор «История второй империи во Франции» (1868—1871), А. Верморель «Деятели 48-го года» (1870), Ф. Лассаль. «Сочинения» (перевод В. Зайцева), Дж.-Ст. Миль «Владение и пользование землей в различных странах», Сочинения Людвига Берне (перевод П. Вейнберга), Эдуард Кине «Революция» (на фран. яз.), «Обозрение двух миров» за 1869 год (на франц. яз.), И. Шерр (1848 и 1851. Комедия всеобщей истории» (на нем. яз.) Следовательно, без книг Н. Г. Чернышевский жил в Вилюйске 3 месяца.

19 июля 1872 г. он получил три посылки с книгами в количестве 59 экземпляров. Среди этих книг значатся сочинения Н. А. Добролюбова, а также книга К. Маркса «Капитал», изданная в 1872 г. в Петербурге Н. А. Поляковым на русском языке в переводе Г. А. Лопатина и Н. Даниельсона, благодаря чему Россия стала первой страной, где появился этот перевод. С именем К. Маркса Н. Г. Чернышевский был знаком еще до якутской ссылки. Можно предполагать, что о выходе в России «Капитала» Н. Г. Чернышевский узнал из периодических изданий, которые присылали ему в Вилюйск. До сих пор остается неизвестным лицо, приславшее эту книгу в Вилюйск.

Посылки с книгами поступали в Вилюйск регулярно, кроме периодов весенней и осенней распутицы. Об этом свидетельствуют письма Н. Г. Чернышевского. «Получаю «Вестник Европы». Совершенно аккуратно, И,

по-видимому, все книги, посылаемые мне, доходят и будут доходить до меня совершенно исправно».

В Вилюйске у Н. Г. Чернышевского было 205 экземпляров книг и журналов на иностранных языках. Из иностранных журналов он предпочитал «Наше время» — современное немецкое обозрение, издаваемое Р. Готтшаф. В его библиотеке находилось 148 книг этого журнала за 1871, 1873 — 1878 гг.

Из периодических изданий на русском языке в библиотеке находились: «Русский архив», «Вестник Европы», «Отечественные записки», «Знание», «Санкт-Петербургские ведомости» и др. Больше всего он любил «Знание», так как на страницах этого журнала освещались наиболее важные вопросы философии и других наук, а также был опубликован ряд статей о К. Марксе. С 1875 г. Н. Г. Чернышевский начал получать «Сибирскую газету» и газету «Неделя».

Обращаясь к жене и сыновьям с заказами на литературу, Н. Г. Чернышевский напоминал им о том, чтобы они не забыли, что до ссылки он занимался наукой, а поэтому присылали в Вилюйск «...только ученые трактаты, имеющие серьезную важность в науке. Новые ли это книги, или старые — все равно». «История Рима» Нибура или «История Греции» Грота были бы прочтены или перечитаны мною с гораздо большим интересом, чем маловажные новые книги, хоть уж и очень стары. Еще гораддо старше Геродот, Фукидид, Тит Ливий, Цицерон, Цезарь, Тацит, но не менее хороши для моего чтения».

В 1874—1979 гг. он много работал, а для этого требовалась масса разнообразной научной литературы, которую в значительном количестве ему присылали в Вилюйск. Исследователь вилюйского периода жизни Н. Г. Чернышевского М. Я. Струминский на основе документов Якутского архива подсчитал, что лишь за первые пять лет ссылки (с 1872 по 1877 гг.) была получена 71 посылка, из которых приблизительно 62—63 содержали в себе только книги и журналы, газеты.

Раз в месяц приходила почта, привозившая Н. Г. Чернышевскому письма, газеты, книги. Он тотчас же разносил книги по городу, соответственно со вкусами читателей. Когда ему задавали вопрос, а зачем он это делает, почему мало оставляет себе литературы, то, лукаво улыбаясь, он отвечал: «А вы не поняли: расчет! Ведь я обжора: накинусь сразу и все поглощу. А так, по партиям, мне хватит на целый месяц».

24 августа (2 сентября) 1883 г. закончился срок сибирской ссылки Н. Г. Чернышевского. Почти все книги, принадлежавшие ему, он оставил в далекой Якутии. После его отъезда вилюйский окружной исправник сообщил якутскому губернатору о том, что Н. Г. Чернышевский «оставил в Вилюйске кипу книг вместе с письмом передать эти книги в Якутскую библитеку при областном полицейском управлении».

Вероятно, не все книги были высланы в Якутск. По этому вопросу существует переписка между Н. Г. Чернышевским и политическим заключенным из Верхнеленска И. И. Майновым. 19 июля 1886 г. И. И. Майнов написал Н. Г. Чернышевскому в Астрахань письмо, в котором содержится просьба от лица верхоленских ссыльных уведомить якутского губернатора о разрешении пользоваться оставшимися в Вилюйске книгами из его библиотеки бывшему студенту Харьковского ветеринарного института Николаю Иордану.

26 июля того же года Н. Г. Чернышевский обратился к якутскому губернатору с просьбой о передаче его книг, оставшихся в Вилюйске, «в полную собственность живущему там Иордану». Н. Иордану было передано 23 названия книг и журналов в 205 экземплярах на иностранных языках. Среди них: Ф. Шлоссер «Всемирная история», И. Тэн «Происхождение современной Франции», П. Ланфрей «История Наполеона I», А. Додэ «Письма моей мельницы», книги М. Курно «Изложение теории вероятностей» и «Основы теории функции дифференциального и интегрального исчисления», «Алфавитный указатель к сочинениям Ч. Дарвина», журнал «Наше время» на немецком языке за 1871, 1873—1878 гг.

Н. Иордан вкоре скончался, а дальнейшая судьба книг, переданных ему Н. Г. Чернышевским, до сих пр остается неизвестной.

В конце 1883 г. Н. Г. Чернышевский возвратился из Сибири и по решению царских

властей был «водворен» в город Астрахань, где прожил до 24 июня 1889 г., а затем возвратился в Саратов, где скончался 29 (17 октября) того же года.

После смерти Н. Г. Чернышевского его сын Михаил Николаевич, передал библиотеку писателя Саратовской городской публичной библиотеке, которая в 1925 г. возвратила их Дому-музею революционера-демократа, где они находятся по сей день. Это самая большая коллекция личных книг Николая Гавриловича Чернышевского у нас в стране. В коллекции книги с афтографами многих видных деятелей прошлого века, литература, которую он читал и над которой работал как переводчик. Эти книги — верные спутники несгибаемого революционера рассказывают нам о его взаимоотношениях с родными и близкими, единомышленниками, открывают важные страницы в биографии, повествуют о разносторонних интересах их владельцев.

Полищук Фаня Моисеевна, кандидат исторических наук, зав. сектором редкой книги областной научной библиотеки им. Молчанова-Сибирского.

Автор около сорока научных публикаций, монографии «История библиотечного дела в Иркутске. Дореволюционный период».

Мы, участники межзональной научной конференции «Проблемы и традиции древнерусского искусства», побывав в Иркутске, ознакомившись с памятными местами вашего города, обеспокоены ситуацией, которая сложилась вокруг одного из уникальных памятников вашего города,— Крестовоздвиженской церкви—«жемчужины сибирского барокко», как называл ее в «Истории русского искусства» И. Э. Грабарь.

Даже неискушенному в вопросах архитектуры и искусства человеку ясно, что построенные уже в соседстве с этим храмом здания ЦНТИ, дворца Гражданских обрядов и музыкального театра уродуют окружающее храм пространство, никоим образом не вписываясь в историческую среду этого уголка города. Нам же, людям, имеющим прямое отношение к искусству, изучавшим архитектуру, это ясно вдвойне, как и то, что намечаемое строительство еще одного здания — областной библиотеки — еще более усугубит и без того резкий диссонанс между этим вдохновенно исполненным старыми мастерами, удивительным по своей красоте храмом и новыми безликими, уродливыми новостройками. Подобными новостройками уничтожен неповторимый облик уже многих исторических городов. Неужели на очереди — Иркутск?

Такие храмы, как Крестовоздвиженская церковь, зодчие ставили прежде в согласии с природой, гармонично вписывая в нее свое творение. Эту гармонию можно ощутить еще и сейчас, но лишь с единственной, пока еще нетронутой новостройками обзорной точки — со стороны заповедных улиц Грязнова, Подгорной.

Строительство здания областной библиотеки, судя по вашим публикациям, намечается опять же неподалеку от храма, но оно, по сути дела, докончит разрушение той естественной, исторической среды, в которой должна существовать эта церковь.

Конфликтная ситуация, возникшая «К вопросу о храме», говорит о том, что, на наш взгляд, вы, иркутяне, не можете в полной мере осознать ценность того, чем владеете. Судьба Крестовоздвиженской церкви волнует нас еще и потому, что на нашей конференции этому удивительному памятнику «сибирского барокко» был посвящен подробный и обстоятельный доклад вашего искусствоведа Т. А. Крючковой, раскрывающий уникальность и самого храма как архитектуры XVIII века, и художественную ценность его иконостаса.

Хочется сказать вам: не спешите в погоне за новостройками, даже если они подаются под благородным видом. Строительство областной библиотеки, конечно же, необходимо, но неужели в городе вашем для нее не найдется больше места?

Бережнее относитесь к своим уникальным памятникам, ведь это не только ваше, но и наше общее, российское достояние.

Участники конференции:

Мануйлова И. А., Тюмень, музей изоискусства;
Осинцева Л. Д., Тобольск, историко-архитектурный музей;
Пантелеева Г. И., Челябинск, областная картинная галерея;
Красноцветова Л. Г., Барнаул, областная картинная галерея;
Булычева Л. А., Томск, областной художественный музей;
Сосновцева И. В., Ленинград, Государственный Русский музей;
и другие (всего 25 подписей).

Составители В. В. Козлов, М. И. Тугова
Художественный редактор А. Г. Маклыгин
Технический редактор Л. А. Жернова
Корректор В. М. Ермакова

Рукописи не возвращаются и не рецензируются

Адреса редакции:
664000, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40,
Союз писателей, тел. 24-56-76.
672000, г. Чита, ул. Богомягкова, 23,
Союз писателей, тел. 3-45-78

ИБ № 1564.
Сдано в набор 6.07.89.
Подписано в печать 28.09.89. НЕ 06044.
Формат 70×90 1/16.
Бумага тип. № 2.
Усл. печ. л. 9,95 (с вкл.).
Уч.-изд. л. 12,33 (с вкл.).
Усл. кр.-отт. 10,98.
Тираж 12 000 экз.
Изд. № 6316.
Заказ 1702.
Цена 70 коп.

Восточно-Сибирское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 664000, г. Иркутск, ул. Марата, 31.
Типография издательства «Восточно-Сибирская правда». 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109.

В 1990 году АЛЬМАНАХ «СИБИРЬ» ПЛАНИРУЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ

Экологические очерки Владимира Жемчужникова и Валерия Хайрюзова.

Стихи и прозу Алексея Зверева, Анатолия Байбородина, Бориса Лапина, Марка Сергеева, Анатолия Горбунова, Григория Вихрова, Валерия Нефедьева и других.

Под новой рубрикой «Интервью «Сибири» — мнения по разным актуальным вопросам известных в стране экономистов, критиков, писателей, журналистов, общественных деятелей.

Под новой рубрикой «Из русского философского наследия» статьи и письма Павла Флоренского, Сергея Булгакова, Василия Розанова, Владимира Соловьева.

Впервые в нашей стране — страницы из книги «Убийство царской семьи» Н. В. Соколов, судебного следователя по важнейшим делам, расследовавшего эту трагедию.

А также малоизвестные страницы из истории гражданской войны в Сибири, протокол допроса Верховного Правителя А. В. Колчака, дневник А. Н. Пепеляева и т. д.

Выписывайте альманах «Сибирь». В розничную торговлю альманах «Сибирь» поступает в ограниченном количестве.



Историк Г. Медведе

70 к.

СИБИРЬ

ЧИТАЙТЕ

...НЫМ

Д... ...стно-
г... ...ения)

ВАСИЛИЙ БУТОВЕЦ

ПО...

СТИ...

ИРКУ...
П. И. ...



Иркутск, Восточно-Сибирское
книжное издательство, 1989